

2

БОРИС СЛУЦКИЙ

БОРИС
СЛУЦКИЙ

2

**БОРИС
СЛУЦКИЙ**

БОРИС СЛУЦКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

БОРИС СЛУЦКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
1961-1972



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84Р7
С49

Составление с научной подготовкой текста
и комментарии
Ю. Болдырева

Оформление художника
М. Шлосберга

С $\frac{4702010202-243}{028(01)-91}$ Подписное

ISBN 5-280-01616-0 (Т. 2)
ISBN 5-280-01615-2

© Составление с научной подготовкой текста, комментарии. Болдырев Ю. Л., 1991.

РАБОТА

1964

21 ИЮНЯ

Тот день в году, когда летает
над всей Москвой крылатый пух
и, белый словно снег, не тает.

Тот самый длинный день в году,
тот самый долгий, самый лучший,
когда плохого я не жду.

Тот самый синий, голубой,
когда близки и достижимы
успех, и дружба, и любовь.

Не проходи, продлись, помедли.
Простри неспешные часы.
Дай досмотреть твои красы,

полюбоваться, насладиться.
Дай мне испить твоей водицы,
прозрачной, ключевой, живой.

Пусть пух взлетевший — не садится.
Пусть день еще, еще продлится.
Пусть солнце долго не садится.
Пусть не заходит над Москвой.

С. П. СЕДОВ

Савелий Петрович Седов
приехал в Москву из деревни
в старинный, забытый и древний
период двадцатых годов.

На вялых листочках анкет
писал он разборчиво — крупно,
решительно, зло, неотступно
серьезное слово «Поэт».

То время поэта всерьез,
и слишком всерьез, принимало.
На гребни эстрад поднимало,
любило поэта до слез.

Сажало его, как зерно
грядущего, лучшего люда,
в суглинок. И брало оттуда.
То время избыто давно.

Певец невысоких садов,
сказитель рязанских гераней,
Савелий Петрович Седов
Есенина выбрал героем.

Он раннюю старость застал
поэта
и стал ему другом.
И слушал усталую ругань
в трактирах московских застав.

Усвоив повадки и удаль,
талант не освоил никак.
И вот из поэзии убыл
Седов, поступил на рабфак.

Была несомненная хватка
в том сыне рязанской земли.
Стихи и дешевая водка
его оглупить не смогли.

Его не смогла успокоить,
смирить, покорить не могла
богемной хвальбы пустяковость,
небрежных журналов хула.

Просодии тайны постигший,
он алгебры тайны постиг.
Студентом пять лет пропустившись,
отстал от занятий пустых.

Я знал его в новую эру.
Седой — он еще не сдавал
и в звании инженера
мне угол в квартире сдавал.

Бывало, с дежурства ночного
стихи приносил мне Седов,
все снова, и снова, и снова
плоды своих поздних трудов.

Былины, побаски, баллады
белели тогда в полстола.
В них не было складу и ладу,
но лирика все же была.

Все с «Я» начиналось. Савелий,
исполнен надежд и доверий,
кричал мне: — Стихи — не статья,
и нету начала уместней
для самой первеющей песни,
чем буква последняя — «Я».

По нитке таскающий с миру,
ничей не отвергну совет.
Не запорошило, не смыло
тебя, домодельный поэт.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Физики поднаторели —
выполнили программу,
солнечные батареи
от солнца работают прямо.

А Гезиод задолго
до современной науки
только от солнца работал,
а также мы, его внуки.

Солнце, вёдро, счастье —
вот источники тока,
питающие все чаще
поэтов нашего толка.

Но мы и от гнева — можем,
и от печали — будем.
И все-таки книги вложим
в походные сумки людям.

Мы — от льгот и от тягот
вдоль вселенной несемся,
а батареи могут
только от солнца.

* * *

Пишите как следует:
из толпоголосого говора,
учтите, что ведают
толковников умные головы:
и старого Даля,
и нового Ушакова,
все то, что издали, —
толковники очень толковы.

Но более слушайте
не книжную речь, а живую.
То слово,
что чашей пошло вкруговую.
Судью — в приговоре
и стороны — в договоре.
И просто людей
в простом бытовом разговоре.

Из канцелярита —
руды, осужденной неправильно,
немало нарыто.
Немало потом и наплавлено.

Я — за варваризмы
и кланяюсь низко хорошему,
что Западом в наши
словесные нивы заброшено.
Я за архаизмы.
За летопись!

И — за машинопись.
Словесную вязь
я люблю и словесную живопись.

Деяния,
ранее
не получившие звания,
сдержавши дыхание,
ждут нашего именованя.

А для этого потребуется очень много слов.

СЭМ СИМКИН

Сэму Симкину — хорошо,
долгоносой и юной пташке,
смехачу в ковбойской рубашке.

Года два в Ленинграде жил,
года два — в Калининграде.
Почему? Романтики ради.

— Я романтик! — смеется Сэм.
Блещут белые зубы Сэма.
И какое-то доброе семя
зарывается в душу мне.
И когда я стихи читаю,
я ошибок его — не считаю.

— Я — поэт? — хохочет опять.
— Ты пока стажер на поэта.
У тебя еще нет билета.

Нет билета, а деньги есть.
Ты чужие стихи поучишь
и билет, конечно, получишь.

Сэм смеется: — Денег-то нет!
Десять лет, как живу без денег.
И не то чтобы я бездельник.

Я рыбачил. Я и грузил.
И стихи, говорят, удаются.
Только деньги мне не даются.

Снова хохот. Без всяких причин.
— Что ты, Симкин, с луны свалился?
— Я неделю назад — женился!

О КНИГЕ «ПАМЯТЬ»

Мало было строчек у меня:
тыщи полторы. Быть может — две.
Все как есть держал я в голове.

Скоростных баллад лихой набор!
Место действия — была война.
Время действия — опять война.

В каждой — тридцать строчек про войну,
про ранения и про бои.
Средства выражения — мои.

Говорили: непохож! Хорош —
этого никто не говорил.
Собственную кашу я варил.

Свой рецепт, своя вода, своя крупа.
Говорили, чересчур крута.
Как грибник, свои я знал места.

Собственную жилу промывал.
Личный штамп имел. Свое клеймо.
Ежели дерьмо — мое дерьмо.

К ДИСКУССИИ ОБ АНДРЕЕ РУБЛЕВЕ

Нет, все не сунешь в схему.
И как бы ни совали,
Рублев,
 приявший схиму,
невером
 был едва ли.

Он на колени падал пред
в начале бывшим
 Словом.
И мужиков искать не след
в архангелах Рублева.

А Спас его — не волопас —
начал труда носитель,
а просто: Спас,
 Спас,
 Спас
(по-нашему — спаситель).

Пожертвуем еще одним
безбожником возможным —
ведь голубь-дух
 летал над ним,
смирненным,
бестревожным.

Нет, не носил Рублев пиджак
под иноческим платьем!
(А с господом мы кое-как
и без Рублева
 сладим.)

* * *

Гр. Петникову

Председатель земного шара —
всех его морей и держав
попросил картуз подержать.

Спичка вспыхнула, задрожала,
озаряя лицо председателя:
шрамы, стимулы, тормоза
и глядящие наблюдательно
председательские глаза.

Был он бодрым, а стал — небодрым.
Был он гордым, а стал он — добрым.
И — не править ему, не карать,
только тихий архив разбирать.
А претензии на властительство
миром,
 шаром этим земным,
превратились давно в попустительство
малым хлопотам очередным.

Постояли. Он попрощался.
Даже поцеловался со мной.
А под нами тихо вращался
не возглавленный им
 шар земной.

* * *

Был обыкновенный день поэзии.
Все мои собратья по профессии
разбрелись по лавкам, кто куда:
что-то вроде пения, сияния,
что-то вроде дела и труда,
на прилавке шаткое стояние,
трогательная белиберда.
Щелкали веселые фотографы,
разбирались беглые автографы,
пели, декламировали, били
в грудь и отбивали такт ногой,
тон держали и фасон давили
час (а в главных лавках час-другой).
Но в каких-то душах— самых юных,
словно на семи гитарных струнах
и на балалаечных, на трех,
тенькало что-то очень простенькое,
горнее, что-то вроде просини,
и необратимое, как рок.

НА СМЕРТЬ АСЕЕВА

Асеев уходит черным дымом,
а был веселым, светлым дымком,
и только после стал нелюдимым,
серым от седины
стариком.

Асеев уходит черной копотью.
Теперь он просто дым без огня.
И словно слышится: «Дальше топайте.
Только, пожалуйста, без меня».

И мы отъезжаем от этого здания,
где каждый метр посвящен судьбе,
готовые выполнить любое задание,
которое лично даем себе.

* * *

Пора заканчивать стихи.
Пора дописывать баллады.
А новых начинать — не надо.
Пора достраивать дворцы,
пора — отделки и отчистки.
Пора — разборки и расчистки.
Пора мечты осуществить.
Да, без сомненья и шатанья
взять и осуществить мечтанья.

НЕ ВИНТИКАМИ БЫЛИ МЫ

Я роздал земли графские
крестьянам южной Венгрии.
Я казематы разбивал.
Голодных я кормил.
Величье цели вызвало
великую энергию.
Я был внутри энергии,
ее частицей был.
Не винтиками были мы.
Мы были — электронами.
Как танки — слушали приказ,
но сами
шли вперед.
Замощены
наши пути
раздавленными
тронами.
Но той щепы
никто из нас
на память
не берет.

МУЗШКОЛА ИМЕНИ БЕТХОВЕНА В ХАРЬКОВЕ

Меня оттуда выгнали за проф
так называемую непригодность.
И все-таки не пожалею строф
и личную не пощажу я
гордость,
чтоб этот домик маленький воспеть,
где мне пришлось терпеть и претерпеть.
Я был бездарен, весел и умен,
и потому я знал, что я — бездарен.
О, сколько бранных прозвищ и имен
я выслушал: ты глуп, неблагодарен,
тебе на ухо наступил медведь.
Поешь? Тебе в чашобе бы реветь!
Ты никогда не будешь понимать
не то что чижик-пыжик — даже

гаммы!

Я отчислялся — до прихода мамы,
но приходила и вмешивалась мать.
Она меня за шиворот хватала
и в школу шла, размахивая мной.
И объясняла нашему кварталу:
— Да, он ленивый, да, он озорной,
но он способный: поглядите руки,
какие пальцы: дециму берет.
Ты будешь пианистом.

Марш вперед! —

И я маршировал вперед.

На муки.

Я не давался музыке. Я знал,
что музыка моя — совсем другая.
А рядом, мне совсем не помогая,
скрипели скрипки и хирел хорал.

Так я мужал в музшколе
той вечерней,
одолевал упорства рубежи,
сопротивляясь музыке учебной
и повинуюсь музыке души.

РЕСТОРАН

Высокие потолки ресторана.
Низкие потолки столовой.
Столовая закрывается рано.
В столовой ни шашлыка, ни плова.
В столовой запах старого сала,
столовская лампочка светит тускло.
А в ресторане с неба свисало
обыкновенное солнце люстры.

Я столько читал об этом солнце,
что мне захотелось его увидеть.
Трамвай быстрее лани несется.
Стипендию вовремя успели выдать.
Что это значит? Это значит:
в десять вечера мною начат
новый образ жизни — светский.
Вхожу: напряженный, резкий, веский,
умный, вежливый и смущенный
не тем, что увижу, а тем, как выгляжу.
Сейчас я на них на всех погляжу.
Сейчас я кровные выну, выложу,
но — закажу и — посижу.

Шел декабрь тридцать восьмого.
Русской истории любой знаток
знает, как это было толково —
сидеть за столом, глядеть в потолок,
видеть люстру большую, как солнце,
чувствовать молодость, ум, талант
и наблюдать, как к тебе несется
не знавший истории официант.

Подумав, рассудив, осторожно я
заказываю одно пирожное.

Потом — второе. Нарзан и чай.
И поглядываю невзначай,
презирает иль не презирает
мое небогатство

официант.

А вдруг — сквозь даль годов прозирает
ум, успех, известность, талант!

Столик был у окна большого,
но что мне было видеть в него?
Небо? Небо — тридцать восьмого.
Ангелов? Ангелов — ни одного.
Не луну я видел, а луны.
Плыли рядом четыре луны.
Были руки худые — юны.
Шеи слабые — обнажены.
Я глядел на слабые плечи,
на поправленный краской рот.
Ноги, доски паркета калеча,
вырабатывали фокстрот.
Затрещали и смолкли часики.
Не показывали тридцать восьмой.
И забвенье, зовомое счастьем,
не звало нас больше домой.

Хорошо быть юным, голодным,
тощим, плоским, как нож, как медаль.
Парусов голубые полотна
снова мчат в белоснежную даль.
Хорошо быть юным, незванным
на свидания, на пиры.
Крепкий чай запивать нарзаном
ради жажды и для игры.
Хорошо у окна большого
в полночь, зимнюю полночь сидеть
и на небо тридцать восьмого
ни единожды не поглядеть.

* * *

В маленькую киношку
да на сеанс дневной,
чтоб людей немножко,
чтоб механик дрянной—

в маленькую, вставленную,
врезанную в домок,
чтобы картину старенькую
я досмотреть бы мог.

Только сеанс начнется —
сразу часы заскрипят,
сразу стрелка качнется
наоборот, назад.

Что же там было вначале?
Кто играл и кого?
Мы ведь — не замечали,
не видели ничего.

Смотрится любо-дорого,
хоть и снято давно.
Все-таки было здорово
в том, довоенном, кино.

Все-таки было славно.
Я досмотрю исправно
и с облегченной душой
тихо пойду домой.

СТАРУХА В ОКНЕ

Тик сотрясал старуху,
слева направо бивший,
и довершал разруху
всей этой дамы бывшей.
Шептала и моргала
и головой качала,
как будто отвергала
все с самого начала,
как будто отрицала
весь мир из двух окошек,
как будто отрезала
себя от нас, прохожих.
А пальцы растирали,
перебирали четки,
а сына расстреляли
давно у этой тетки.
Давным-давно. За дело.
За то, что белым был он.
И видимо — задело.
Наверно — не забыла.
Конечно — не очнулась
с минуты той кровавой.
И голова качнулась,
пошла слева — направо.
Пошла слева направо,
потом справа налево,
потом опять направо,
потом опять налево.
И сын — белее снега
старухе той казался,
а мир — краснее крови,
ее почти касался.
Он за окошком — рядом
сурово делал дело.
Невыразимым взглядом
она в окно глядела.

ПОЛИТРУК

Словно именно я был такая-то мать,
всех всегда посылали ко мне.
Я обязан был все до конца понимать
в этой сложной и длинной войне.
То я письма писал,
то я души спасал,
то трофеи считал,
то газеты читал.

Я военно-неграмотным был. Я не знал
в октябре сорок первого года,
что войну я, по правилам, всю проиграл
и стоит поражение у входа.
Я не знал,
и я верил: победа придет.
И хоть шел я назад,
но кричал я: «Вперед!»

Не умел воевать, но умел я вставлять,
отрывать гимнастерку от глины
и солдат за собой поднимать
ради родины и дисциплины.
Хоть ругали меня,
но бросались за мной.
Это было
моей персональной войной.

Так от Польши до Волги дорогой огня
я прошел. И от Волги до Польши.
И я верил, что Сталин похож на меня,
только лучше, умнее и больше.
Комиссаром тогда меня звали,
попом
не тогда меня звали,
а звали потом.

9-ГО МАЯ

Замполит батальона энского,
капитан Моторов Гурьян,
от бифштекса сыт деревенского,
от вина цимлянского — пьян,

он сидит с расстегнутым воротом
над огромным и добрым городом,
над столицей своей, Москвой:
добрый, маленький и живой.

Рестораны не растеряли
довоенной своей красоты.
Все салфетки порасстилали,
вилки, ложки понесли.

Хорошо на душе Моторову,
даже раны его не томят.
Ловко, ладно, удобно, здорово:
ест салат, заказал томат.

Сколько лет не пробовал сока,
только с водки бывал он пьян.
Хорошо он сидит, высоко.
Высоко забрался Гурьян.

КАК УБИВАЛИ МОЮ БАБКУ

Как убивали мою бабушку?
Мою бабушку убивали так:
утром к зданию горбанка
подошел танк.
Сто пятьдесят евреев города,
легкие
от годовалого голода,
бледные
от предсмертной тоски,
пришли туда, неся узелки.
Юные немцы и полицаи
бодро теснили старух, стариков
и повели, котелками бряцая,
за город повели,
далеко.

А бабушка, маленькая словно атом,
семидесятилетняя бабушка моя
крыла немцев,
ругала матом,
кричала немцам о том, где я.
Она кричала: — Мой внук на фронте,
вы только посмейте,
только троньте!
Слышите,
наша пальба слышна! —

Бабушка плакала, и кричала,
и шла.
Опять начинала сначала
кричать.
Из каждого окна
шумели Ивановны и Андреевны,
плакали Сидоровны и Петровны:
— Держись, Полина Матвеевна!

Кричи на них. Иди ровно! —
Они шумели:

— Ой, що робыць
з отым нимцем, нашим ворагом! —
Поэтому бабку решили убить,
пока еще проходили городом.

Пуля взметнула волоса.
Выпала седенькая коса,
и бабка наземь упала.
Так она и пропала.

* * *

О. Ф. Берггольц

Все слабели, бабы — не слабели, —
в глад и мор, войну и суховой
молча колыхали колыбели,
сберегая наших сыновей.

Бабы были лучше, были чище
и не предали девичьих снов
ради хлеба, ради этой пищи,
ради орденов или обнов, —

с женотделов и до ранней старости,
через все страдания земли
на плечах, согбленных от усталости,
красные косынки пронесли.

* * *

Николе Вапцарову

Полиция исходит из простого
и вечного. Пример: любовь к семье.
И только опираясь на сие,
выходит на широкие просторы.

Полиция учена и мудра.
И знает: человек — комочек праха.
И невысокий бугорок добра
полузасыпан в нем пургою страха.

Мне кажется, что человек разбит
в полиции на клетки и участки.
Нажмут — и человека ознобит,
еще нажмут — и сердце бьется чаще.

Я думаю, задолго до врача
и до ученых, их трактатов ранних,
нагих и теплых по полу влача,
все органы и члены
 знал охранник.

Но прах не замечается пургой,
а лагерная пыль заносит плаху.
И человек,
 не этот, так другой,
встает превыше ужаса и страха.

* * *

В бесплацкартном, некупированном
беспокойно спит пассажир,
словно в городе оккупированном —
узелок под бок подложив.

Вроде кражи почти повывелись,
все разбойнички — заключены.
Спи и только смотри не вывались,
пересматривай лучше сны.

Все же собранный он
и сведенный,
сжатый, словно пальцы в кулак,
спит, как будто секретные сведения
заключает его узелок.

Освещение, отопление:
бесплацкартный вагон — не плох.
Но остаточные явления
предыдущих длинных эпох
загенили ему улыбку.

Спит как будто бы на войне.
Нервно спит,
как будто ошибку
совершить
боится во сне.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

Двадцатые годы — не помню.
Тридцатые годы — застал.
Трамвай, пассажирами полный,
спешит от застав до застав.
А мы, как в набитом трамвае,
мечтаем, чтоб время прошло,
а мы, календарь обрывая,
с надеждой глядим на число.
Да что нам, в трамвае стоящим,
хранящим локтями бока,
зачем дорожить настоящим?
Прощай, до свиданья, пока!
Скорее, скорее, скорее
года б сквозь себя пропускать!
Но времени тяжкое бремя
таскать — не перетаскать.
Мы выросли. Взрослыми стали.
Мы старыми стали давно.
Таскали — не перетаскали
все то, что таскать нам дано.
И все же тридцатые годы
(не молодость — юность моя),
какую-то важную льготу
в том времени чувствую я.
Как будто бы доброе дело
я сделал, что в Харькове жил,
в неполную среднюю бегал,
позднее — в вечерней служил,
что соей холодной питался,
процессы в газетах читал,
во всем разобраться пытался,
пророком себя не считал.
Был винтиком в странной, огромной
махине, одетой в леса,
что с площади аэродромной
взлетела потом в небеса.

ДОБРО

Зло можно простить,
забыть — наплевать.

Добро — нельзя забывать.

Оно — рана. Снова откроется.

Оно — пламя. Пробьет золу.

Оно — мышь. Все время роется
в каждом твоём углу.

Ты ли,
тебе ли

добыли счастье:
потом не прогонишь добро со двора.

Оно все тащит, тащит в чашу.

В дебри
добра.

ОЧКИ

— Подкеросинь ему пивко,
чтоб заорал он.
(А было это далеко,
ах, за Уралом!)

— Пивко ему подкеросинь
и дай копченок.
Я не люблю растяп, разинь,
в очках, ученых.

У Юли груди — в полведра.
У Юли — челка.
Она любезна и добра,
но к здешним только.

И вот приезжему под нос
суют для пира
кругом уставленный поднос:
копченки, пиво.

Приезжий сорок верст прошел:
какой там запах!
— Холодненькое, хорошо! —
И выпил залпом.

Он для удобства снял очки
и галстук сдвинул.
И вот уже берет бычки,
из банки вынул.

И зал (а это был пивной
зал, поселковый)
следит, что делают со мной.
Большой, толковый.

А я краюшечку жую,
бычки глотаю,
и несчастливой жизнь свою
я не считаю.

А зал (тудяг, быть может, сто)
кричит: — Присядьте к нам за стол!

И — выпей свежего пивка!
И — как дорога, далека?

А я очки в руках верчу
и Юле шесть рублей плачу.

* * *

Где-то струсил. Когда — не помню.
Этот случай во мне живет.
А в Японии, на Ниппоне,
в этом случае бьют в живот.

Бьют в себя мечами короткими,
проявляя покорность судьбе,
не прощают, что были робкими,
никому. Даже себе.

Где-то струсил. И этот случай,
как его там ни назови,
солью самую злой, колючей
оседает в моей крови.

Солит мысли мои, поступки,
вместе, рядом ест и пьет,
и подрагивает, и постукивает,
и покоя мне не дает,

БЕРЕЗКА В ОСВЕНЦИМЕ

Ю. Болдыреву

Березка над кирпичною стеной,
случись,

когда придется,

надо мной!

Случись на том последнем перекрестке!

Свидетелями смерти не возьму

платан и дуб.

И лавр мне — ни к чему.

С меня достаточно березки.

И если будет осень,

пусть листок

спланирует на лоб горячий.

А если будет солнце,

пусть восток

блеснет моей последнею удачей.

Все нации, которые — сюда,

все русские, поляки и евреи

березкой восхищаются скорее,

чем символами быта и труда.

За высоту,

за белую кору

тебя

последней спутницей беру.

Не примирюсь со спутницей

иною!

Березка у освенцимской стены!

Ты столько раз

в мои

вращала сны.

Случись,

когда придется,

надо мною.

* * *

Умирают отцы и матери,
остаются девочки и мальчики.
Их сначала гладят по головкам,
говорят: «Теперь держись!»,
а потом пускают галопом
через жизнь.

Умирают девочки и мальчики.
Остаются отцы и матери.
Эти живут — медленно.
Им спешить — некуда.
Все давно — сделано.
Больше делать — нечего.

* * *

Все время думаю, что мне уже пошел сорок второй.
Покуда было сорок лет, об этом думалось порой.
Покуда было тридцать лет — не это было на душе.
О, молодость моя! Теперь, теперь ты за холмом уже.
Я помню — год сорок второй не мне, а веку миновал.
Землянку помню под горой, накатов тощенький навал.
С утра до вечера шепчу о том, что я устал и что:

«Надо, значит, надо!»

О, молодость! О, блиндажей
тоскливая нечистота,
белья несвежесть и ушей.
Души большая высота.
Часы! Ступайте вспять. Года,
и вы, года, ступайте вспять.

О, повторись, моя беда!
О, молодость, случись опять!

Вы, поражения мои
и унижения мои,
и вы — сражения, бои,
свищите, словно соловьи.
Быть может, все же ворочу
то, что отобрано судьбой.
Мне надо! — времени кричу.
Я столько раз шел за тобой.
«Мне надо!» Как тебе не знать,
что

надо, значит, надо.

* * *

Мои старые юные фотографии,
где я выцвел от времени, но все же цветущ,
и короткие автобиографии
в две-три строчки без нависающих туч.

Мое первое личное дело. Школьное —
то, что школьной тетрадки не толще,
еще неотягощенное, вольное,
коротенькое, тощее.

В общем, был ли какой надо мною контроль,
я об этом не знал ни шиша.

И я вел свою роль, как веселый король
опереточный! Общества то есть душа.

И все это надежно запечатлено
на старинной, на юной, на блеклой, на свежей
фотографии. Все, что мне было дано,
и каких там собак на меня же не вешай,

вот он — я. Вот погоны мои полевые.
Золотые, серебряные ордена.
Заявляйте, родимые, словно живые,
где я был и впоследствии и впервые
и за что кавалерия эта дана!

Кавалерия эта за инфантерию,
как пехоту честили в офицерском кругу,
и за третью, за гитлеровскую империю,
о разгроме которой напомнить могу.

* * *

Юность — аванс. Дается всем
лет на восемь или на семь,
лет на девять или на десять.
Как его тратить, следует взвесить.
Как же его базарить, транжирить,
как же его пускать в распыл?
Я бы хотел хоть год зажилить,
спрятал бы, на полжизни забыл.
А полжизни спустя, под старость
вынул бы этот зажатый год.
Мне бы, конечно, показалось
это — лучше всяких льгот.
Вы — представьте! Все мои сверстники,
однокашники, ровесники
постарели — до одного.
Все скрипят. А я — ничего!
А я — в армейскую форму влитой,
а я — в сапоги солдатские вбитый,
весь — до последней запятой —
живой. Хоть раненый, но не убитый.
А я — офицер Великой Отечественной
войны. Накануне победного дня,
и ветер мая, теплый, величественный,
вежливо обдувает меня.

* * *

*Владиславу Броневскому
в последний день его рождения
были подарены эти стихи*

Покуда над стихами плачут,
пока в газетах их порочат,
пока их в дальний ящик прячут,
покуда в лагеря их прочат, —

до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не згинело,
хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,
я точности не знаю большей,
чем русский стих сравнить с поляком,
поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала,
заламывая руки в страхе,
еще вчера она лежала
почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит
и наглым хохотом хохочет.
А то, что было,
то, что будет, —
про это знать она не хочет.

* * *

Июнь был зноен. Январь был зябок.
Бетон был прочен. Песок был зыбок.
Порядок был. Большой порядок.

С утра вставали на работу.
Потом «Веселые ребята»
в кино смотрели. Был порядок.

Он был в породах и парадах,
и в органах, и в аппаратах,
в пародиях — и то порядок.

Над кем не надо — не смеялись,
кого положено — боялись.
Порядок был — большой порядок.

Порядок поротых и гнутых,
в часах, секундах и минутах,
в годах — везде большой порядок.

Он длился б век и вечность длился,
но некий человек свалился,
и весь порядок — развалился.

ПАЯЦ

Не боялся, а страшился
Этого паяца:
Никогда бы не решился
Попросту: бояться.

А паяц был низкорослый,
Рябоватый, рыжий,
Страха нашего коростой,
Как броней, укрытый.

А паяц был уstraшенный:
Чтобы не прогнали, —
До бровей запорошенный
Страхом перед нами.

Громко жил и тихо помер.
Да, в своей постели.
Я храню газетный номер
С датой той потери.

Эх, сума-тюрьма, побудка,
Авоськи-котомки.
Это все, конечно, в шутку
Перечтут потомки.

РАЗГОВОР

- Выпускают, всех выпускают,
распускают все лагеря,
а товарища Сталина хают,
обижают его зазря.
Между тем товарищ Сталин
обручом был — не палачом,
обручом, что к бочке приставлен,
и не кем-нибудь — Ильичем.
- Нет, Ильич его опасался,
перед смертью он отписал,
чтобы Сталин ушел с должности,
потому что он кнут и бич.
- Дошлый был он.
- Этой дошлости
опасался, должно быть, Ильич.

* * *

Два оклада выдают за два,
нет, за полтора десятилетия.
Лихолетье било словно плетью.
Компенсируют — едва-едва.

Два оклада и еще доклада
неопубликованного
часть.

Прежде говорили: это часть.

А теперь — ни складу и ни ладу
в объяснениях,
зато сулят
глаз вон — если кто вспомнит старое.
И от старого давно усталые
получают свой двойной оклад.

* * *

— После лагеря ссылку назначили,
после севера— Караганду.
Вечный срок! Объяснять мне начали.
Я сказал: ничего, подожду.

Вечно, то есть лет через десять,
может быть, через восемь лет
можно будет табель повесить,
никогда больше не снимать.

Вечность — это троп поэтический,
но доступный даже судье.
Срок реальный, срок фактический
должен я не так понимать. —

Хорошо говорить об этом
вживе, в шутку и наяву
с отсидевшим вечность поэтом,
но вернувшимся все же — в Москву.

С ним, из вечной ссылки вернувшимся,
обожженным вечным огнем,
но не сдавшимся, не загнувшимся:
сами, мол, хоть кого загнем.

* * *

Из буфета пахло — избуфетным.
Из начальства пахло — изначальным.
Чем-то бедным
и печальным.
Дом как дом,
контора всем конторам,
деньги получаем по которым.

Это учрежденье учредилось
для свободы, правды и добра.
Это заведенье заводилось
в полдесятого, с утра.
Этот дом имел такую вывеску,
формулу такую он имел,
что ее и умному не вывести,
разве гений, может быть, посмел.

Гений вывел формулу и бросил.
Мы же сами — много не смогли.
И осталась формула, как проснись
в черном небе,
 черном для земли.

* * *

Тайны вызывались поименно,
выходили, сдержанно сопя,
словно фокусник в конце сезона,
выкладывали публике себя.

Тайны были маленькие, скверненькие.
Каялись они — навзрыд,
словно шлюхи с городского скверика,
позабывшие про срам и стыд.

Тайны умирали и — смердели
сразу.
Словно умерли давно.
Люди подходили и смотрели.
Людам было страшно и смешно.

* * *

Мягко спали и сладко ели,
износили кучу тряпья,
но особенно надоели,
благодарности требуя.

Надо было, чтоб руки жали
и прочувствованно трясли.

— А за что?

— А не сажали.

— А сажать вы и не могли.

Все талоны свои отоварьте,
все кульки унесите к себе,
но давайте, давайте, давайте
не размазывать о судьбе,

о какой-то общей доле,
о какой-то доброй воле
и о том добре и зле,
что чинили вы на земле.

* * *

Шаг вперед!
Кому нынче приказывают: «Шаг вперед!»
Чья берет?
И кто это потом разберет?
То ли ищут нефтяников
в нашем пехотном полку,
чтоб послать их в Баку
восстанавливать этот Баку?
То ли ищут калмыков,
чтоб их, по пустыням размыкав,
удалить из полка
этих самых неверных калмыков?
То ли ищут охотника,
чтобы добыть «языка»?
Это можно —
задача хотя нелегка.
То ли атомщик Скобельцын
присылает свои самолеты,
чтоб студентов физфаков
забрать из пехоты?
То ли то, то ли это,
то ли так, то ли вовсе не так,
но стоит на ребре
и качается медный пятак.
Что пятак? Медный грош.
Если скажут «Даешь!», то даешь.
И пока: «Шаг вперед!» —
отдается в ушах,
мы шагаем вперед.
Мы бестрепетно делаем шаг.

* * *

У меня было право жизни и смерти.
Я использовал наполовину,
злоупотребляя правом жизни,
не применяя право смерти.
Это — моральный образ действий
в эпоху войн и революций.
Не убий, даже немца,
если есть малейшая возможность.
Даже немца, даже фашиста,
если есть малейшая возможность.
Если враг не сдается,
его не уничтожают.
Его пленяют.
Его сажают
в большой и чистый лагерь.
Его заставляют работать
восемь часов в день — не больше.
Его кормят. Его обучают:
врага обучают на друга.
Военнопленные рано или поздно
возвращаются до дому.
Послевоенный период
рано или поздно
становится предвоенным.
Судьба шестой мировой зависит
от того, как обращались
с пленными предшествующей, пятой.
Если кроме права свободы,
печати, совести и собраний
вы получите большее право:
жизни и смерти, —
милуйте чаще, чем карайте.
Злоупотребляйте правом жизни,
пока не атрофируется право смерти.

ОБЪЯСНЕНИЕ

В два часа ночи,
белой ночи,
бледной, полярной мурманской ночи
бледные мурманские ребята
играли в футбол на главной площади
города,
огромной, как Красная площадь.

Нам не спалось от необычайности
города, брошенного кучей косточек
в глубокую тарелку котловины,
а также от белости, бледности ночи.
Ночи положено быть черной.
Мы смотрели в окна гостиницы
на азартный, хотя и бесшумный
футбольный матч

в два часа ночи,
единственный матч в моей жизни,
досмотренный до конца.

Мы почему-то вспомнили Черчилля.
В зимней Москве 43-го года
(может быть, 44-го года)
в душераздирающую стынь и стужу
он увидел московских мальчишек,
лижущих мороженое прямо на улице.
«Этот народ — непобедимый», —
написано в его мемуарах
не только по поводу Красной Армии,
но и по поводу московских мальчишек,
лижущих белоснежное мороженое
синими от холода языками.

ЛИРИКИ И ФИЗИКИ

Слово было ранее числа,
а луну — сначала мы увидели.
Нас читатели еще не выдали
ради знания и ремесла.

Физики, не думайте, что лирики
просто так сдаются, без борьбы.
Мы еще как следует не ринулись
до луны — и дальше — до судьбы.

Эта точка — вне любой галактики,
дальше самых отдаленных звезд.
Досягнете без поэтов, практики?
Спутник вас дотуда не довед.

Вы еще сраженье только выиграли,
вы еще не выиграли войны.
Мы еще до половины вырвали
сабли, погруженные в ножны.

А покуда сабля обнажается,
озаря мускулы руки,
лирики на вас не обижаются,
обижаются — текстовики.

* * *

Стихи заводятся от сырости,
от голода и от войны
и не заводятся от сытости
и не выносят тишины.

Без всякой мудрости и хитрости
необходимо душу вытрясти
при помощи карандаша
(если имеется душа).

А если брюхо ваше толсто,
а жизнь смирна или тиха,
пишите оды или тосты
и — не касайтесь стиха.

* * *

Инфаркт, инсульт, а если и без них
устану я от истин прописных,
от правды и от кривды ежедневной
и стану злой, замученный и нервный?
Как ось — погнусь, как шина — изотрюсь,
поскольку слишком безгранична Русь,
и нас — от самосвалов до такси —
гоняют слишком часто по Руси.
Легковики — мы на ноги легки.
Мы, грузовозы, груз любой свезем
и только с грузом грусти и тоски
не одолеем, не возьмем подъем.
Давайте же повеселеем вдруг,
чтоб впредь нигде, никак не горевать
и не заламывать тоскливо рук,
в отчаяньи волос не рвать.
Давайте встанем рано поутру,
не будем делать ровно ничего,
а просто станем на таком ветру,
чтоб сдул несчастья — все до одного.
Давайте, что ли, Зоценку читать,
давайте на комедию пойдем,
но только чтобы беды не считать,
душевный снова пережить подъем.

* * *

Иностранцы корреспонденты
выдавали тогда патенты
на сомнительную, на громчайшую,
на легчайшую — веса пера —
славу. Питую полную чашею.
Вот какая была пора.

О, зарницы, из заграницы
озарявшие вас от задницы
и до темени.

О, зарницы
в эти годы полной занятости.

О, овации, как авиация,
громыхающая над Лужниками.
О, гремучие репутации,
те, что каждый день возникали.

О пороках я умолкаю,
а заслуга ваша такая:
вы мобилизовали в поэзию,
в стихолюбы в те года
возраста, а также профессии,
не читавшие нас никогда.
Вы зачислили в новобранцы
не успевших разобраться,
но почувствовавших новизну,
всех!

Весь город!

Всю страну!

* * *

У великих людей
на могильных камнях
высекают даты и профессию.
У простых людей — только даты.
У всех закавказцев — также профессию,
хотя не все закавказцы —
великие люди.
У самых великих
одно слово:
фамилию
или даже личное имя.

* * *

Просторечие. Просто речь
дешевая, броская,
но гремучая, словно сечь
запорожская.

Словно смерд — до княжения
доработаться нелегко.
Так вокни́жение, вокниже́ние
просторечия — нелегко.

Но слепляются грязи — в князи,
но из хамов бывает пан,
сохраняющий крепкие связи
с той избой, где он ел и спал.

Сколько книг — издайте и бросьте,
никому ни к чему они.
А написанное на бересте
разумеется в наши дни.

* * *

Критики меня критиковали,
редактировали редактора,
кривотолковали, толковали
с помощью резинки и пера.

С помощью большого, красно-синего,
толстобочного карандаша.
А стиха легчайшая душа
не выносит подчеркивания сильного.

Дым поэзии, дым-дымок
незаметно тает.
Легок стих, я уловить не мог,
как он отлетает.

Легче всех небесных тел
дым поэзии, тобой самим сожженной.
Не заметил, как он отлетел
от души, заботами груженной.

Лед-ледок, как в марте, тонок был,
тонкий лед без треску проломился,
в эту полынью я провалился,
охладил свой пыл.

* * *

Благодарю за выволочки.
Они мне в смысле выучки
дают довольно много.
Кланяюсь в ноги.

За головомойки, трепки
благодарю покорно,
сконфуженно и робко,
охотно и проворно.

Благодарю за выговоры,
поскольку в смысле выбора
нет у меня иного.
Кланяюсь снова.

Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Благодарствую
за лекции спесивые
с осанкой государственною.

Стерпится — слюбится.
Недаром вся возня.
Вы выводили в люди все
и — вывели меня.

ИСТОРИКИ БЫЛЫХ ВЕКОВ

Мы связываем связь времен,
ту, что еще при Гамлете распалась.
А связывать нам нелегко. Распарясь,
измучась, связываем связь времен.
Нам не дано увидеть новизны,
узнать ее, признать ее воочью.
Но связь времен мы все-таки должны
связать. И вяжем — днем и ночью.
Как будто сети рыбаки плетут,
как будто нить судьбы прядут
три пряжи при царе Горохе,
мы связываем времена, эпохи,
периоды. И эры. И века.
Как эта вязка нелегка!
Как руки ободрали нам канаты!
Но все же вяжем! Надо, значит, надо.
А — надо.

МНОГОВАРИАНТНОСТЬ ИСТОРИИ

Туповатые лица этрусков...

В исторической

ходе

утруски

этих вытрясли. Целый народ.

Сколько было, а словно и не было.

Нет, не пощадило их небо,

а могло бы — и наоборот.

Если б дрогнули римские рати,
левый фланг или правый фланг,

а не потрудились ради
скоротечных и вечных благ —

в туповатых этрусских ликах,

никому не известных никак,

узнавали бы лица великих

мудрецов,

знаменитых всяк.

Потому не за страх, а за совесть

укрепляй обороноспособность,

деловито ли, воровато,

но старайся, покуда живой,

чтоб из множества вариантов

отобрала история твой.

* * *

Пришла пора, брады уставя,
о новом рассудить уставе,
а если ныне кто без брад,
того я также слушать рад.

Старинное названье «Дума»
и слово новое «Совет»,
где всяк, кто не дурак, не дура,
обязан подавать совет.

Восстановим значенье слов,
в Стране Советов — власть советову,
обдуманно начав для этого
дискриминацию ослов.

ПЕРЕСУД

Ворошат слежавшиеся вороха. Уже
с лженаук, к примеру, с астрологии
отдирают ту приставку «лже»,
что клеймила их столетья многие.

Перепромывают горы руд,
что считались тыщу лет промытыми.
Ярлыки меняют над забытыми:
может, врут?

Пересматривают все дела,
даже дело Каина и Авеля.
Сажа — допускают — вдруг бела?
Может — очернили и охаяли.

Всякий суд идет на пересуд.
Всякую концепцию трясут.
Кается, и топчется, и мечется,
и отмыться хочет человечество.

ЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Недоспало, недоело,
недобрало свое
людые,
а теперь ему надоело.
Подавайте ему житье.
Подавайте ему отдельное.
Подавайте ему скромное.

Эти требования — дельные,
эти просьбы — законные, скромные.

Человечество — нечеловеческое
совершило,
весь род людей.

Просьбы выполнили отеческие
и философов и вождей.
Отработали все авралы
и устали их одобрять.
Человечество недобрало.
А теперь желает добрать.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

Впервые в людской истории
У каждого есть история.
История личная эта
Называется — анкета.
Как Плутарх за Солона,
Описываешь сам
И материнское лоно,
И дальнейший взлет к небесам.
Берешь этот листочек,
Где все меньше вопросов,
И тонкие линии точек
Покрываешь словами.
Ежели в грядущем
Человечество соскучится,
Оно прочитает
Твои ответы,
А ежели в грядущем
Человечество озябнет,
Оно истопит
Анкетами печку.

* * *

Что за необычная зима!
Все провозглашенные морозы
не коснулись ни стиха, ни прозы,
не вошли в семейства и дома.

Кошки не хотят ловить мышей —
в мировой истории впервые.
Не пугают больше малышей,
не желают больше —
домовые.

Злые псы — теперь не злые псы,
и дощечка на заборе
вывешена для красоты,
уберут ее, наверно, вскоре.

На турнирах в шахматы и шашки
все теперь играют в поддавки.
И пришли из рая ходоки,
чтобы наши перенять замашки.

* * *

Жалко молодого президента:
пуля в лоб. Какая чепуха!
И супругу, ту, что разодела
в дорогие барские меха.
Пуля в лоб — и все. А был красивый
и — богатый. И счастливый был.
За вниманье говорил спасибо.
Сдерживал свой офицерский пыл.
Стала сиротою Кэролайн,
девочка, дошкольница, малютка.
Всем властителям, всем королям
страшен черт: так, как его малюют.
Стала молодой вдовой Жаклин.
Белый Дом меняет квартиранта.
Полумира властелин
упокоен крепко, аккуратно.
Компасная стрелка снова мечется
меж делений мира и войны.
Выигрыш случайный человечества
промотали сукины сыны.

* * *

Все было на авосе.
Авось был на небосе.
Все было оторви да брось.
Я уговаривал себя: не бойся.
Не в первый раз вывозит на авось.

Полуторки и те с дорог исчезли,
телеги только в лирике везут,
авось с небосем да кабы да если,
спасибо, безотказные, везут.

Пора включить их в перечень ресурсов,
я в этом не увижу пережим —
пока за рубежом дрожат, трясутся,
мы говорим: «Авось!» — и не дрожим.

* * *

Единогласные голосования,
и терпеливые колесования
голосовавших не едино,
и непочтенные седины,
и сочетание бесстрашия
на поле битвы
с воздетыми, как для молитвы,
очами (пламенно бесстыжие),
с речами (якобы душевные),
и быстренькие удушения
инаковыглядающих, инако
глядающих, слышащих и дышащих.
В бою бесстрашие, однако,
готовность хоть на пулеметы,
хоть с парашютом
не сопрягается, не вяжется,
не осмысляется, не веруется.
Еще нескоро слово скажется
о том, как это дело делается.

СЫН НЕГОДЯЯ

Дети — это лишний шанс. Второй —
данный человеку богом.

Скажем, возвращается домой
негодяй, подлец.
В доме убогом
или в мраморном дворце —
мальчик повисает на отце.

Обнимают слабые ручонки
мощный и дебелий стан.
Кажется, что слабая речонка
всей душой впадает в океан.

Я смотрю. Во все глаза гляжу —
очень много сходства нахожу.

Говорят, что дети повторяют
многие отцовские черты.
Повторяют! Но — и растворяют
в реках нежности и чистоты!

Гладит по головке негодяй
ни о чем не знающего сына.
Ласковый отцовский нагоняй
излагает сдержанно и сильно:
— Не воруй,
не лги
и не дерись.
Чистыми руками не берись
за предметы грязные.

По городу
ходит грязь.
Зараза — тоже есть.

Береги, сыночек, честь.
Береги, покуда есть.
Береги ее, сыночек, смолоду.

Смотрят мутные его глаза
в чистые глаза ребенка.
Капает отцовская слеза
на дрожащую ручонку.

В этой басне нет идей,
а мораль у ней такая:
вы решаете судьбу людей?
Спрашивайте про детей,
узнавайте про детей —
нет ли сыновей у негодяя.

* * *

Полюбил своей хладной душой,
то есть был услужлив и верен,
знал, докуда за ней бы дошел,
где бы бросил, если велено.
Все же это была любовь,
чувство, страсть были в этом все же,
и она была подороже
чувства, страсти всякой любой.
Полюбил и ждал от нее
той же верности, той же страсти
в тех же рамках закона и власти,
регулирующих бытие.

* * *

А ты по-прежнему точен:
входишь с боем часов.
И голос твой все жесточе
среди иных голосов.

А ты по-прежнему вежлив,
как современный король,
и хамствуешь только, ежели
так предписала роль.

А ты по-прежнему скромн,
ровен, тих.
В меру постноскоромн
твой аккуратный стих.

А я по-прежнему тоже
ненавижу тебя до дрожи.
Все между нами ясно,
точно, понятно,
слова не скажем напрасно,
и это очень приятно.

* * *

Женщины, с которыми — ты,
те же, что у гения.
Но ему — чистота их красоты,
чудные мгновения.
Тебе достанутся рост и масть
и ничего особенного.
А гений имеет власть — класть
печать. Своего, особенного.

Гении ходят с ними в кино,
слушают те же банальности.
Гениям ничего не дано,
кроме их гениальности.
Нет, дано. Женщину ту,
виданную, перевиданную,
люди увидят сквозь мечту,
увидят его видением.

И вот берется Анна Керн
и добавляется чуть в нее.
Все остается с подлинным верно
и все же — мгновение чудное.

* * *

Современность, нынешность, сегодняшность:
мочеполовая спиртоводочность,
песня из полсотни полуслов
точных и привычных и скалдырных,
автомотофотохолодильник —
это в понимании ослов.

Но свобода, равенство и братство
понемногу движутся вперед,
и в междупланетное пространство
время межвоенное идет.

Вечный холод выморозит подлость,
вечный жар сожжет ее дотла,
и галактики медвежья полость
наши запахнет слова-дела.

Или поумнеют люди как-то,
проберутся между ваших вех,
и взойдет, словно в пустыне кактус,
крепкий и колючий человек.

* * *

Расставляйте покрепче локти-ка,
убирайте подальше лапти-ка,
здесь аптека, а рядом оптика,
фонарей и витрин галактика.

Разберитесь, куда занесло
вас, с побасками и фольклором,
избяным, неметеным сором:
это — город, а не село.

Это — город. Он — большой.
Здесь пороки свои и пророки.
Здесь с природой и с душой
не прожить. Нужна сноровка.

Это — город. Взаимная выручка
растерявшихся хуторян
не заменит личной выучки,
если кто ее растерял.

Если кто ее не приобрел,
замечтавшись и засмотревшись,
хоть степной, но все ж — не орел,
хоть и конный, а все же пеший.

* * *

Совесьть, как домашняя собака,
не хочет своего кусать.
Надо бы в лицо сказать,
а совесьть, как домашняя собака,
не хочет своего кусать.

Сказать в лицо значит посмотреть
в глаза. И выдержать. И вынести
ответный взор обиженной невинности.
Сказать в лицо. Нет, лучше — умереть.
Нет, лучше не сказать и не смотреть
в глаза.

А совесьть?
Что ж, она не просится.
Накормлена — и смирная она.
Домашняя. На своего не бросится.
Зимой она безропотно морозится.
В жару — не бесится.
Какого же рожна?

Раз так — не обижайся и терпи
и жди, пока она рванется
и что-то вспомнит
и с цепи
с железным гроыханием сорвется.

* * *

Старая записная книжка!
Все телефоны уже не действительны:
знакомые получили квартиры —
раньше они снимали углы,
девушки вышли замуж — девушкам не
позвонишь.
Я тоже женился. Мне тоже — не позвонишь.
Товарищи сменили позиции.
Одни — легко, как пулеметы.
Другие — с трудом, как осадные пушки.
Товарищам теперь не позвонишь.
Я — тоже сменил позицию
в результате идейной эволюции
по причине повзрсления
в связи с давлением времени
или (есть такая точка зрения)
по той же причине,
по которой это сделали товарищи.
У одной Лили Юрьевны Брик
тот же самый телефон,
только с другими цифрами.

* * *

Вода бывает
 чистая, грязная, горькая, горячая,
 холодная, фруктовая
 и даже тяжелая.
Правда бывает только чистая.
 Если она в то же время
 горькая, тяжелая
 и, может быть, даже
 фруктовая,
Она все равно должна оставаться
 чистой правдой.

* * *

Не верю, что жизнь — это форма
существования белковых тел.
В этой формуле — норма корма,
дух из нее давно улетел.

Жизнь. Мудреные и бестолковые
деянья в ожиданьи добра.
Индифферентно тело белковое,
а жизнь — добра.

Белковое тело можно выразить,
найдя буквы, подобрав цифры,
а жизнь — только сердцем на дубе вырезать.
Нет у нее другого шифра.

Когда в начале утра раннего
отлетает душа от раненого,
и он, уже едва дыша,
понимает, что жизнь — хороша,

невычислимо то понимание
даже для первых по вниманию
машин, для лучших по уму.
А я и сдуру его пойму.

СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИИ

1969

* * *

Россия увеличивала нас:
ее штабы, ее масштабы,
ее поля, ее баштаны,
ее Урал, ее Кавказ.

И самые обычные слова
становятся необычайны,
когда подхватывает их Москва
от радиовещания до чайной.

* * *

Брали на обед по три вторых,
первого ни одного не брали.
«Трали-вали», — говорит старик,
инвалид, участник поля брани.

Смотровые ордера
получали в райсовете.
По сто граммов хлопали с утра.
Не боялись никого на свете.

Обсуждали изредка судьбу.
Смело командирам возражали.
И с большим достоинством в гробу
в выходных костюмах возлежали.

Лесорубы из Карелии,
курский соловей, псковский печник —
псы семи держав
как угорелые
бегали от них.

* * *

Целый класс читает по слогам
хором. Что-то новое и важное.
Шелестит торжественно бумажное,
весело душевное поет.
Души формируются отважные,
зрелость постепенно настает.
Зрелость постепенно наступает,
словно осторожный командарм,
а покуда — целый класс читает,
целый класс
 читает по слогам.

МОСКОВСКИЕ РАБОЧИЕ

Московские рабочие не любят,
когда доклад читают по бумажке,
не чтят высокомерные замашки,
не уважают,
 если кто пригубит
серьезное,
 скользнет, хвостом вильнет
и дальше, вдоль по тезисам рванет.

Московские рабочие, которые
могли всю жизнь
 шагов с пяти
 глядеть,
как мчится вдаль всемирная история,
рискуя их самих
 крылом задеть,
не любят выдумки, не ценят выверта.
Идете к ним — точнее факты выверьте!

Не обмануть московских рабочих,
в семи водах изрядно кипяченных,
в семи дымах солидно прокопченных
и купанных в семи кровях.
К вранью не проявляют интерес!
Поэтому и верю я в прогресс.

СТРАХ

Чего боится человек,
прошедший тюрьмы и окопы,
носивший ружья и оковы,
видавший

новой бомбы

сверк?

Он, купанный во ста кровях,
не понимает слово «страх».
Да, он прошел сквозь сто грязей,
в глазах ирония змеится,
зато презрения друзей
он, как и век назад,
боится.

* * *

Если вся рота идет не в ногу,
а прапорщик Иванов — в ногу,
может быть, не права рота,
может быть, не прав прапорщик.
Всегда не прав сочинитель истории,
сочинивший историю,
где ни один прапорщик
никогда
ни на один шаг
не обгонял свою роту.
Лично мне, образно говоря,
хочется подойти к прапорщику,
представиться, попросить прощенья—
мол, отрываю от дела;
пускай разъяснит в подробностях,
почему он шел не в ногу.
Только таким образом
следует сочинять исторические сочинения.

КРУГОСВЕТНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

О земля! Я тебя узнавал постепенно!
О высокие камни соборов твоих!
О приморских бульваров белесая пена!
О смиренные камни твоих мостовых!

Желтый цвет Ленинграда
и красный — Москвы.
Черепицы Белграда
под сенью листвы.
Города моих странствий, страстей и стараний,
где хорошим, плохим и обычным я был,
где был счастлив, несчастлив, удачлив и ранен,
где был должен погибнуть — и все-таки жил.

Я стада монументов земли огибаю,
чтобы вспомнить про маленький памятник в Байе.
В придунайском местечке без всяких примет
установлен сей трогательный монумент.
То — чугунный крестьянин обычного роста.
Рядом — шар. Этот шар, несомненно, земной.
Так за что же крестьянин отмечен страной?
Награждение объясняется просто.
Он когда-то из Венгрии вышел пешком
и с заплечным мешком
на восток устремился,
целый мир обошел и, гремя посошком,
умирать возвратился туда, где родился.

А земля поклонилась тому земляку,
дорогому до слез и родному до дрожи.
Насбирали по мелочи, по пятаку
горожане
на шар
и на статую тоже.

Чтобы тот, кто с родимой страной
не поладил,
сдуру, смолоду
пыль ее с ног отряхнул,
возвратился
и шарик чугунный погладил,
постоял, подумал, вздохнул.

* * *

Женщина заплакала. У нее
были, видимо, свои проблемы.
Но вагон метро молчал,
занятый проблемами своими.
Кто сочувствовал,
но про себя.
Кто в душе тихонько раздражался,
потому что плач —
очень часто разновидность просьбы.
Между тем
этот плач был вроде пенья птицы,
или шума ветра,
или шелеста снежинок.
Слезы шли и перестали.
Выглянула робкая улыбка,
и всему вагону стало лучше.
У вагона отлегло от сердца.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ПОЭТАМ

Я пока за стихи получаю вперед,
но когда-нибудь счет оплачу.

Пассажирский вместительный самолет:
из Москвы в Ленинград я лечу.

Мой сосед полистал, повертел «Огонек»
и со скукой его положил.

— Сколько платят поэтам? — спросил паренек.
Любознательный был пассажир.

— По семи, по четырнадцати, по двадцати
за любую строку нам дают.

Наломаеть, придешь и заявишь: — Плати!
— И дают?
— Прямо в руки суют.

— А за что?

— А за вредность профессии. За
красивые наши глаза,

что годам к тридцати потухают. Скорей,
чем у плотников и слесарей.

Нам, в горячем цеху, не дают молока,
и поэтому так вздорожала строка.

И еще: средний возраст, который у нас
в этом веке двадцатом таков,

что ни летчик, ни сварщик, ни верхолаз
не завидуют, если толков.

И еще — за рожон. Почему за рожон?
Это знать вам пока ни к чему.

Пассажир замолчал, повздыхал, поражен.
И задумался: почему?

ПЛАСТИНКА

Долго играет долгоиграющая,
долго, словно поездка на долгих.
Дол и гора еще.
Дол и гора еще.
Долго.

Музыка — как по ухабам и рытвинам
путь:
 без края, конца, предела.
Тонким, режущим душу, бритвенным
голосом
 женщина что-то пела.

Впрочем, не важно, что такое,
были бы звуки — острые, резкие.
Точное чувство непокоя
вдруг возникает в начале поездки.

Вдруг возникает и не оставляет
в медленном, словно вращенье земное,
в медленном ходе пластинки. Цепляет
что-то меня. Уходит со мною.

Музыка за руку провожает.
Словно колесами переезжает.

* * *

В эпоху такого размаха
столкновений добра и зла
несгораема только бумага.
Все другое сгорит дотла.

Только ямбы выдержат бомбы,
их пробойность и величину,
и стихи не пойдут в катакомбы,
потому что им ни к чему.

Рифмы — самые лучшие скрепы
и большую цепкость таят.
Где развалятся небоскребы,
там баллады про них устоят.

Пусть же стих подставляет голову,
потому что он мал, да удал,
под почти неминучий удар
века темного,
века веселого.

ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ

Духовые оркестры на дачных курзалах
и

на вдаль провожающих войско
вокзалах,
громыхайте, трубите, тяните свое!
Выдавайте по пуду мажора на брата
и по пуду минора —
если боль и утрата.
Выдавайте, что надо,
но только свое.

Ваши трубы из той же, что каски пожарных,
меди вылиты,

тем же пожаром горят.
Духовые оркестры! Гремите в казармах,
предваряйте и возглавляйте парад!
Бейте марши,

тяжелые, словно арбузы!
Сыпьте вальсы

веселой и щедрой рукой!
Басовитая, мужеподобная муза
пусть не лучше,

так громче
будет всякой другой

Духовое стоит где-то рядом с душевным.

Вдохновляйте на подвиг
громыханьем волшебным.

Выжимайте, как штангу тяжелоатлеты,
тонны музыки

плавно вздыматься должны.

Космонавтам играйте в минуту отлета
и встречайте солдат,

что вернулись с войны.

МОИ ТОВАРИЩИ

Сгорели в танках мои товарищи —
до пепла, до золы, дотла.

Трава, полмира покрывающая,
из них, конечно, произросла.

Мои товарищи на минах
подорвались,

 взлетели ввысь,
и много звезд, далеких, мирных,
из них,

 моих друзей,

 зажглись.

Они сияют, словно праздники,
показывают их в кино,
и однокурсники и одноклассники
стихами стали уже давно.

ПРОСЬБЫ

— Листок поминального текста!
Страничку бы в тонком журнале!
Он был из такого теста —
ведь вы его лично знали.
Ведь вы его лично помните.
Вы, кажется, были на «ты».

Писатели ходят по комнате,
поглаживая животы.
Они вспоминают: очи,
блестящие из-под чуба,
и пьянки в летние ночи,
и ощущение чуда,
когда атакою газовой
перли на них стихи.
А я объясняю, доказываю:
заметку б о нем. Три строки.

Писатели вышли в писатели.
А ты никуда не вышел,
хотя в земле, в печати ли
ты всех нас лучше и выше.
А ты никуда не вышел.
Ты просто пророс травую,
и я, как собака, вою
над бедной твоей головою.

ПСЕВДОНИМЫ

Когда человек выбирал псевдоним
он думал о том, кто выбрал фамилию
а также о том, кто выбрал фамилию
Веселый,
Горький,
Бедный.
Веселое время, оно же светлое время,
с собой привело псевдонимы
Светлов и Веселый.

Но не допустило бы
снова назваться
Горьким и Бедным.
Оно допускало фамилию
Беспощадный,
но не позволяло фамилии
Безнадежный.

Какие люди брали тогда псевдонимы,
фамилий своих отвергая унылую ветошь!
Какая эпоха уходит сейчас вместе с ними!
Ее пожаром, Светлов,
ты по-прежнему светишь.

Он пил да не пропил
(он пьяница был, не пропойца),
большого и острого разуменья не выдал,
и не утратил пониманья пропорций,
и прямо смотрел. И дальше товарищей видел.

Он не изменял никогда своего поведения,
похожего на карнавальное сновиденье.
С безжалостной нежностью вышутил дело и слово
своих современников, чаще всего — М. Светлова.

Смешно ему было, не весело, а забавно,
вставная улыбка блистала вставными зубами.

Мыслёнка шуршит неотвязная и сквозная,
и шарит и рыщет какого-то звука и слова.
Умер Светлов. А я до сих пор не знаю,
какая была фамилия у Светлова.

С прекрасною точностью определял он понятия,
как будто клеймил все подряд и себя без изъятия.
А что искривило насмешкой незлобною рот,
навек в спирту сохранится
светловских острот.

Когда его выносили из клуба
писателей, где он проводил полсуток,
все то, что тогда говорилось, казалось
глупо,
все повторяли обрывки светловских шуток.

Он был острословьем самой серьезной эпохи,
был шуткой тех, кому не до шуток было.
В нем заострилось время, с которым
шутки плохи,
в нем накалялось время
до самого светлого пыла.

Не много мы с ним разговаривали разговоров,
и жили не вместе, и пили не часто,
но то, что не видеть мне больше
повадку его и норов, —
большое несчастье.

* * *

В поэзии есть ангелы и люди.
Есть демоны и люди.
Есть духи и великие старухи.
Есть неземные звуки и слова.

От естества ли, от сверхъестества,
от вещества земного иль эфира —
твоя гитара или, может, лира,
твои полметра или же полмира,
твоя Рязань или твоя Пальмира?

Все, чем душа жива ли, не жива.

* * *

Поэта подбирают,
как ходока:
дойти, куда надо,
сказать, что надо,
а если дорога нелегка,
так что же:
надо — значит, надо.

Поэт должен знать,
к кому идти,
как знал ходок, что идти нужно к Ленину,
и, выбрав путь, не сбиться с пути,
шагать и шагать
спокойно, уверенно.
Нет у поэта закваски, закалки
пахаря,

вздымающего поля.
То ему шатко, то ему валко:
уходит из-под ног земля.
Но чтобы поэт мог состояться,
он должен в очереди достояться,
чтобы выслушали,
чтобы услышали
и не тянули до бесконечности:
то ли на уровне власти,
выше ли,
на уровне истории, вечности.

А в общем этот умственный труд
тяжелей физического двужилья.
Те, кого не сомнут,
не сотрут —
честно заслужили.

ХОЛСТЫ АКОПА КОДЖОЯНА

Сарьян — в хрестоматии нашего глаза.
Он ясен для младшего школьного класса
и прост, словно воздух, которым дышу.
И больше я про него не пишу.

Сарьян — это выигранное сражение.
А слово — искусственное орошение
пустынь и полупустынь — песков.
Поэтому я приглашу Коджояна:
восстань из могилы!
Ты умер так рано!
Полотна развесь!
Покажись нам, Акоп!

Пусть медленные заведут разговоры
тобою нагроможденные горы.

Пускай нам окажут почет и доверье
тобою возвращенные легкие звери.
Пусть птицы твои защебечут над нами,
обсудят, осудят мой каждый изъян
и с нами поделятся птичьими снами.
Какими — ты знаешь,

Акоп Коджоян!

И ежели ныне не встретишь оленя
и лани,

исполненной сладостной лени,
в горах и долинах армянской земли, —
они на холсты Коджояна ушли.

Я, сызмальства,

с Харькова,

с детства

узнавший

армянский рассудок, порядок и чин,

настаиваю,
чтоб на выставках наших
просторные стенки

Акоп получил.

О милый цветок каменистой земли,
роскошествуй! Душу мою весели!

* * *

Ответственные повествования
словесность составили нашу,
случайные импровизации
в России не процвели.
Ни смутные волхования,
ни сюрреализма каша
нашей цивилизации
впрок никогда не шли.

Российские модернисты
были ясны и толковы,
писали не водянисто
и здравого смысла оковы, —
пусть злобствуя и чертыхаясь,
но накрепко пригвоздя, —
они наложили на хаос,
порядок в нем наведя!

Как критики ни грызутся,
но в формуле нет изъятий:
отечественные безумцы
были здравых понятий.

* * *

Когда откажутся от колеса,
когда его ходулями заменят,
а десятичная система счета
помрет, а синхрофазотроны
пойдут на переплавку —
Пушкина
все будут знать по имени и отчеству.
Я выбрал самую надежную профессию:
в ней все плохое
устаревает сразу, в чертежах,
а все хорошее
в двадцатом веке
не хуже, чем в двадцатом веке
до нашей эры.
Когда откажутся от рук и глаз,
от смелости и от любви,
тогда откажутся от нас —
от Пушкина.

СЛОВА, СЛОВА

Если иссякнут силы,
а дело все-таки правое —
появляется пафос.

Власть бытия над сознанием
имеет свои пределы.
Разгневанное сознание
командует бытием.

Ежели снабжение
не обеспечит сражение,
его обеспечат речи
взволнованных политруков.

Слова, слова, слова, —
говаривал Гамлет.
Кроме того, есть Слово,
которое было вначале.

Вначале было слово,
и только потом — дело.

Слова, слова, слова, —
говаривал Гамлет,
написанный словами,
десятком тысяч слов.

Последняя провинция,
сдаваемая войском, —
язык.
Дальше некуда
и некогда отступить.

РЕЙД

У кавкорпуса в дальнем рейде —
ни тылов, ни перспектив.

Режьте их, стригите, брейте —
так приказывает командир.

Вот он рвется, кавалерийский
корпус —
сабель тысячи три.

Все на удали, все на риске,
на безумстве, на «черт побори!».

Вот он режет штаб дивизии
и захватывает провизию.

Вот районный город берет
и опять, по снегам, вперед!

Край передний, им разорванный,
много дней как сомкнулся за ним.

Корпусные особые органы
жгут архивы, пускают дым.

Что-то ухаает, бухает глухо —
добивают выстрелом в ухо
самых лучших, любимых коней:
так верней.

Корпус, в снег утюгом вошедший,
застревает, как пуля в стене.

Он гудит заблудившимся шершнем,
обивающим крылья в окне.

Иссякает боепитание.
Ежедневное вычитание
молча делают писаря.

Корпус, словно прибой, убывает.
Убивают его, добивают,
но не даром, не так, не зазря.

Он уже свое дело сделал.
Песню он уже заслужил.
Красной пулей в теле белом
он дорогу себе проложил.

КРОПОТОВО

Кроме крыши рейхстага, брянских лесов,
севастопольской канонады,
есть фронты, не подавшие голосов.
Эти тоже выслушать надо.
Очень многие знают, где оно,
безымянное Бородино:
это — Кропотово, возле Ржева,
от дороги свернуть налево.
Там домов не более двадцати
было.

Сколько осталось — не знаю.
У советской огромной земли — в груди
то село, словно рана сквозная.
Стопроцентно выбыли политруки.
Девяносто пять — командиры.
И село (головешки да угольки)
из рук в руки переходило.
А медали за Кропотово нет? Нет.
За него не давали медали.
Я пишу, а сейчас там, конечно, рассвет
и ржаные желтые дали,
и, наверно, комбайн идет по ржи
или трактор пни корчует,
и свободно проходят все рубежи,
и не знают, не слышат, не чуют.

РОМАН ТОЛСТОГО

Нас привезли, перевязали,
суть сводки нам пересказали.
Теперь у нас надолго нету дома.
Дом так же отдален, как мир.
Зато в палате есть четыре тома
романа толстого «Война и мир».

Роман Толстого в эти времена
перечитала вся страна
в госпиталях и в блиндажах военных.
Для всех гражданских и для всех военных
он самый главный был роман, любимый:
в него мы отступали из войны.
Своею стойкостью непобедимой
он обучал, какими быть должны.

Роман Толстого в эти времена
страна до дыр глубоких залистала;
мне кажется, сама собою стала,
глядясь в него, как в зеркало, она.

Не знаю, что б на то сказал Толстой,
но добродушье и великодушье
мы сочетали с формулой простой:
душить врага до полного удушья.
Любили по Толстому; по нему,
одолевая смертную истому,
докапывались, как и почему.
И воевали тоже по Толстому.
Из четырех томов его

косил

на Гитлера

фельдмаршал престарелый
и, не щадя умения и сил,
устроивал засады и обстрелы.

С привычкой славной —
вылущить зерно
практического —
перечли со вкусом
роман. Толстого знали мы давно.
Теперь он стал победы кратким курсом.

ПЕРЕПРАВА

Не помеченные на карте
и текущие так, зазря,
подмосковные речки в марте
разливаются в полуморя.

Ледяная, убивающая
снеговая вода,
с каждым часом прибывающая,
заливает пойму тогда.

Это все на неделю, на две,
а потом все схлынет, уйдет.
Ну, а две недели
разве
так легко прожить, пережить!

В эти самые две недели
в марте, в 42-м году,
на меня вещмешок надели.
Я сказал: «Сейчас пойду».

Дали мне лошаденку: квелая,
рыжая. Рыжей меня.
И сказали кличку: «Веселая».
И послали в зону огня.

Злой, отчаянный и голодный,
до ушей в ледовитом огне,
подмосковную речку холодную
переплыл я тогда на коне.

Мне рассказывали: простудился
конь
и до сих пор хрипит.

Я же в тот раз постыдился
в медсанбат отнести свой бронхит.

Было больше гораздо спросу
в ту войну с людей, чем с коней,
и казалось, не было сносу
нам

и не было нас сильней.

Жили мы без простудной дрожи,
словно предки в старину,
а болеть мы стали позже,
когда выиграли войну.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ

За маленькие подвиги даются
медали небольшой величины.

В ушах моих разрывы отдаются.
Глаза мои пургой заметены.

Я кашу съел. Была большая миска.
Я водки выпил. Мало: сотню грамм.
Кругом зима. Шоссе идет до Минска.
Лежу и слушаю вороний грай.

Здесь в зоне автоматного огня,
когда до немца метров сто осталось,
выкапывает из меня усталость,
выскакивает робость из меня.

Высвобождает фронт от всех забот,
выталкивает маленькие беды.

Лежу в снегу, как маленький завод,
производящий скорую победу.
Теперь сниму и выколочу валенки,
поставлю к печке и часок сосну.
И будет сниться только про войну.

Сегодняшний окончен подвиг маленький.

ДВЕСТИ МЕТРОВ

Мы бы не доползли бы,
ползи мы хоть ползимы.
Либо случай, либо —
просто счастливые мы.

Ровно двести метров
было того пути,
длинных, как километры...
Надо было ползти!

Надо — значит, надо!
(Лозунг той войны.)
Сжав в руках гранаты,
мы ползти должны.

Белые маскхалаты
тихо берут подъем.
Словно ели, мохнаты,
оползнями ползем.

Оползнями, пливунами
плыли мы по снегам.
Что же станется с нами,
взвод не постигал.

Взвод об этом не думал:
полз, снег вороша.
И как пену сдунул
немцев с рубежа.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АЛЬПАХ

Четыре верблюда на улицах Граца!
Да как же они расстарались добраться
до Альп

из родимой Алма-Аты!
Да где же повозочных порастеряли?
А сколько они превзошли расстояний,
покуда дошли до такой высоты!

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда,
худые и гордые звери идут.

А впрочем,
я никогда не поверю,
что эти верблюды действительно звери.
Достоин иного прозванья верблюдов.

Дивизия шла на верблюжьей тяге:
арбы или пушки везли работяги,
двугорбые, смиренные, добрые,
покорные, гордые, бодрые.

Их было, наверное, двести четыре,
а может быть, даже и триста четыре
но всех перебили,

и только четыре
до горного города Граца дошли.
А сколько добра привезли они людям!
Об этом распространяться не будем,
но мы никогда,

никогда
не забудем
верблюдов из казахстанской земли.

В каком-то величьи,
в каком-то прискорбьи,
загадочно-тихие, как гороскоп,

верблюды
проходят
сквозь шум городской.
И белые Альпы видны в междугорбьи.
Вдоль рельсов трамвайных проходит верблюд,
трамвай гурьбой за арбою идут.

Трамвай потревожить верблюда не смеет.
Неспешность

приходится

извинить.

Трамвай не решается позвонить.
Целая очередь грацких трамваев
стоит,
если тянется морда к кустам,
стоит,
пока по листку обрываем
возросший у рельс превосходный каштан.

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда.

МАРШАЛ ТОЛБУХИН

У маршала Толбухина в войсках
ценили мысль и сметку,
чтоб стучала,
и наливалась силою в висках,
и вслед за тем победу источала.

Сам старей маршал, грузный и седой,
интеллигент в десятом поколеньи,
любил калить до белого каленья
батальных розмыслов железный строй.

То латы новые изобретет
и производство панцирей наладит,
и этим утюгом по шву прогладит
врагов. Сметет и двинется вперед.

То учредит подводную пехоту,
которая проходит дном речным
и начинает страшную охоту
на немца,
вдруг возникши перед ним.

Водительство полков
не ремеслом
считал Толбухин,
а наукой точной.
Смысл западный
со сметкою восточной
спаяв,
он брал уменьем, не числом.

Жалел солдат
и нам велел беречь,
искал умы,
и брезгал крикунами,
и умную начальственную речь

раскидывал, как невод,
перед нами.

В чинах, в болезнях, в ранах и в годах,
с веселой челкой
надо лбом угрюмым

он долго думал,
думал,
думал,
думал,
покуда не прикажет: делать так.

Любил порядок,
не любил аврал,
считал недоработкой смерть и раны,
а все столицы — что прикажут —
брал,
освобождал все — что прикажут —
страны.

* * *

Слышу шелест крыл судьбы,
шелест крыл,
словно вешние сады
стелет Крым,
словно бабы бьют белье
на реке,
так судьба крылами бьет
вдалеке.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

В девятнадцатом я родился,
но не веке — просто году.
А учился и утвердился,
через счастье прошел и беду
все в двадцатом, конечно, веке
(а в году — я был слишком мал).
В этом веке все мои вехи,
все, что выстроил я и сломал.

Век двадцатый! Моя ракета,
та, что медленно мчит меня,
человека и поэта,
по орбите каждого дня!

Век двадцатый! Моя деревня!
За околицу — не перейду.
Лес, в котором мы все деревья,
с ним я буду мыкать беду.

Век двадцатый! Место рабочее!
Мой станок! Мой письменный стол!
Клич победный! Мучительный стон!
Потому еще ближе, чем прочие,
что меня ты тянул и ковал,
словно провод меня протягивал,
то подкручивал, то подтягивал,
потому что с тобой — вековал.

* * *

У времени вечный завод,
как будто Второй часзавод
его собирал на конвейере.
Заведено на века,
как будто его в ОТК
Второго завода проверили.
Все кончится, что началось,
хотя бы сначала, как лось,
случайно забредший в Сокольники,
шумело, ревело, тряслось.
Все кончится, что началось.
Все кончится. Тихо. Спокойненько.
Полвека, что я проживу,
треть века, что я проработаю,
как лось, я сминая траву
и розы на клумбах заглатываю.
Но время мое включено,
песок мой все сыплется, сыплется,
и надо дерзать или силиться —
кому что дано.

ОТРОЧЕСТВО

Нынешние студенты
гораздо лучше одеты,
чем я, когда я учился
в конце тридцатых годов.
Нынешние студенты
реже читают газеты.
Их занимают числа,
цифры забитых голов.

Нынешние — сытее,
шире в плечах, наверно.
У них другие идеи:
можно подумать неверно.
Мне было невозможно
хоть раз подумать ложно.

Страшное напряженье
в наших гудело мозгах,
чтобы ни нарушенья
в абрисе и мазках.
Через все наши споры,
помню, как сейчас,
лозунг прошел: саперы
ошибаются только раз!

Мины, мины, мины
выли вокруг меня.
Мало было мира.
Много было огня.
Мало было мыла.
Мало было хлеба.
Много было пыла.
Много было неба —
неба голубого
над зелеными полям.
Отрочества любого
мне мое милей.

* * *

А я не отвернулся от народа,
с которым вместе
голодал и стыл.

Ругал баланду,
обсуждал природу,
хвалил
далекий, словно звезды,
тыл.

Когда
годами делишь котелок
и вытираешь, а не моешь ложку —
не помнишь про обиды.

Я бы мог.
А вот — не вспомню.
Разве так, немножко.

Не льстить ему,
не ползать перед ним!
Я — часть его.
Он — больше, а не выше.
Я из него действительно не вышел.
Вошел в него —
и стал ему родным.

* * *

Интеллигенция была моим народом,
была моей, какой бы ни была,
а также классом, племенем и родом —
избой! Четыре все ее угла.

Я радостно читал и конспектировал,
я верил больше сложным, чем простым,
я каждый свой поступок корректировал
Львом чувства — Николаичем Толстым.

Работа чтения и труд писания
была святей Священного писания,
а день, когда я книги не прочел,
как тень от дыма, попусту прошел.

Я чтил усилья токаря и пекаря,
шлифующих металл и минерал,
но уровень свободы измерял
зарплатою библиотекаря.

Те земли для поэта хороши,
где — пусть экономически нелепо —
но книги продаются за гроши,
дешевле табака и хлеба.

А если я в разоре и распыле
не сник, а в подлинную правду вник,
я эту правду вычитал из книг:
и, видно, книги правильные были!

ВЫСОКОМЕРИЕ

Колючая проволока
высокомерия —
а вы ее пробовали?
А вы ее мерили?

Берите, примерьте!
У нас — в избытке.
Поможет до смерти
дожить без обиды.

Священное право я
хочу обрести —
колючею, ржавую
себя обнести.

Она помогает
немедля и верно:
ну кто помыкает
высокомерным?

О высокомерья
высокая мера!
Швыряют каменья —
встаю — для примера.

Встаю, поднимаюсь,
от смерти не кроюсь,
и не поменяюсь
местами со скромностью.

* * *

Теперь Освенцим часто снится мне:
дорога между станцией и лагерем.
Иду, бреду с толпою бедным Лазарем,
а чемодан колотит по спине.

Наверно, что-то я подозревал
и взял удобный, легкий чемоданчик.
Я шел с толпою налегке, как дачник.
Шел и окрестности обозревал.

А люди чемоданы и узлы
несли с собой,
и кофры, и баулы,
высокие, как горные аулы.
Им были те баулы тяжелы.

Дорога через сон куда длинней,
чем наяву, и тягостней и длительней.
Как будто не идешь — плывешь по ней,
и каждый взмах все тише и медлительней.

Иду как все: спеша и не спеша,
и не стучит застынувшее сердце.
Давным-давно замерзшая душа
на том шоссе не сможет отогреться.

Нехитрая промышленность дымит
навстречу нам
поганым сладким дымом,
и медленным полетом
лебединым
остатки душ поганый дым томит.

* * *

Скамейка на десятом этаже,
к тебе я докарабкался уже,
домучился, дополз, дозадохнулся,
до дна черпнул, до дыр себя сносил,
не пожалел ни времени, ни сил,
но дотянулся, даже прикоснулся.

Я отдохну. Я вниз и вверх взгляну,
я посижу и что-нибудь увижу.
Я посижу, потом рукой махну —
тихонько покарабкаюсь повыше.
Подъем жесток, словно дурная весть,
и снова в сердце рвется каждый атом,
но, говорят, на этаже двадцатом
такая же скамейка есть.

* * *

Образовался недосып.
По часу, по два собери:
за жизнь выходит года три.
Но скуки не было.

Образовался недоед
из масел, мяс и сахаров.
Сочтешь и сложишь — будь здоров!
Но скуки не было.

Образовался недобор:
покоя нет и воли нет,
и ни бумажек, ни монет.
Но скуки не было.

Газет холодное вранье,
статей напыщенный обман
и то читали, как роман.
Но скуки не было.

Как будто всю ее смели,
как листья в парке в ноябре,
и на безлюдьи, на заре,
собрали в кучу и сожгли,
чтоб скуки не было.

* * *

На стремительном перегоне
спрыгну с поезда, и в вагоне
досчитаются: нет одного,
но подумают: ничего.
Спрыгну с поезда. Лесом. Пехом.
Буреломом, чертополохом
проторю к нежилому жилью
незаметную тропку свою.
Там широкая русская печка
и забытая кем-то свечка,
а к стене прибит календарь,
что показывал время встарь.
Слева, справа, спереди, сзади
тишина держит дом в осаде.
По-над домом дымит тишина,
и под домом зарыта она.
Там, в тиши, спокойно додумаю
свою самую главную думу я,
свежим воздухом подышу,
книгу главную напишу.

* * *

Мне кажется, когда протянут шнур,
веревку,

злых от добрых отсекая,
моя судьба, такая и сякая,
она не к злым, а к добрым попадет.

Моя струя, струись не иссякая,
моя река, теки не высыхая,
покуда зло последнее падет.

НАТЯГИВАТЬ НЕ СТАНЕМ УДИЛА

Натягивать не станем удила,
поводья перенапрягать не станем,
а будем делать добрые дела
до той поры, покуда не устанем.

А что такое добрые дела,
известно даже малому ребенку.
Всех, даже основных адептов зла,
не будем стричь под общую гребенку.

Ну что мы, в самом деле, все орем?
Где наша терпеливость, милость, жалость?
В понятие «проступок» уберем,
что преступлением обозначалось.

По году с наказания скостим,
и сложность апелляций упростим,
и сахару хоть по куску прибавим —
и то в веках себя прославим.

* * *

Государство уверено в том, что оно до копейки народу долги заплатило, отпустило невинных, виновных простило и что счета покончены очень давно.

В самом деле — торжественно руки трясли, за казенные деньги казенные зубы очень многим вставляли. Поклон до земли! Благодарен за все, даже за миску супа.

Но уплаченный долг продолжает висеть, заплатили, конечно, но не расплатились. Расплетаться не хочет старинная сеть, только петли кой-где прохутились, сместились.

СТРАННОСТИ

Странная была свобода:
делай все, что хочешь,
говори, пиши, печатай
все, что хочешь.
Но хотеть того, что хочешь,
было невозможно.
Надо было жаждать
только то, что надо.

Быт был тоже странный:
за жилье почти и не платили.
Лучших в мире женщин
покупали по дешевке.
Небольшое, мелкое начальство
сплошь имело личные машины
с личными водителями.
Хоть прислуга
называлась домработницей,
но прислуживала неуклонно.

Лишь котлеты дорого ценились
без гарнира
и особенно с гарниром.
Легче было
победить, чем пообедать.
Победитель гитлеровских полчищ
и рубля не получил на водку,
хоть освободил полмира.

Удивительней всего законы были.
Уголовный кодекс
брали в руки осторожно,
потому что при нажиме
брызгал кровью.

На его страницах смерть встречалась
много чаще, чем в балладах.

Странная была свобода!
Взламывали тюрьмы за границей
и взрывали. Из обломков
строили отечественные тюрьмы.

КАРИАТИДЫ

Государственный пафос карнатид,
их мяса и беконь
подпирают балконы.

Но на самом-то деле балконы висят,
потому что их держат угрюмые балки,
те, которых не видно, не слышно, не жалко.

А на гипсовых бицепсах не повисишь,
не удержишься даже мгновенье:
красота — их предназначенье.

Перемены в эстетике. Каменных дам,
все весомости бюста и зада
убирают с фасада.

Обнажается голый железный каркас.
Оказалось, что только для виду
пребывали карнатиды.

Обнажается то, что держало балкон,
страховало, крепило:
балки, палки, стропила.

Перемены эстетики тем хороши,
что внезапно, мгновенно
обнажают артерии, вены.

Не лепнину, громоздкую ерунду,
а каркаса железное тело,
суть да дело.

* * *

У каждого были причины свои:
одни — ради семьи.
Другие — ради корыстных причин:
звание, должность, чин.

Но ложно понятая любовь
к отечеству, к расшибанью лбов
во имя его
двинула большинство.

И тот, кто писал: «Мы не рабы!» —
в школе, на доске,
не стал переть против судьбы,
видимой невдалеке.

И бог — усталый древний старик,
прячущийся в облаках,
был заменен одним из своих
в хромовых сапогах.

ПОСЛЕДНИЙ ПОДАРОК СУДЬБЫ

Били Мейерхольда — ежедневно,
он же только головой качал
вяло, а не гневно.
В голосе утратился металл.

Жизнь всю жизнь ему казалась театром.
Режиссер был властен, словно бог.
Раньше был он сильным, ловким, тертым.
А теперь он ничего не мог.

Жизнь, которая почти прошла
под морской прибой аплодисментов,
стала вдруг под занавес пошла,
коротка, в масштабе сантиметров.

Как-то добивали старика,
заседали, били, нападали.
Эта цель казалась так легка:
бабы из рогаток попадали.

Расскажу про, может быть, последнюю
режиссерскую находку.
Пользуюсь писательскою сплетнею.
Шла очередная сходка.

Слово попросила Зивельчинская.
Слово в ту эпоху было дело.
Тощей и дешевой зубочисткою
эта дева старая глядела.

Сбросив шубку жестом элегантным,
руки не забыв горе воздеть,
шла к трибуне смерти делегатка,
юбку позабывшая надеть.

Шла она в лиловых трикотинowych,
в продававшихся тогда штанах.
В душном зале, в волнах никотиновых
смех звучал активнее, чем страх.

Смех звучал, звучал, звучал,
видя ту сиреневую гадость.
А для Мейерхольда означал
этот случай маленькую радость.

— Существо, — сказал старик, —
среднего, по-видимому, рода.
Говорит от имени народа.
К этому я, собственно, привык.

Но народ из двух родов —
женского и плюс к тому мужского —
состоит, и существа такого
нет меж наших сел и городов,

быть не может.

— Существо, — он повторял,
Мейерхольд, Всеволод Эмильич,
и язвительнейший взор вперял
в эту растерявшуюся мелочь.

Двадцать лет прошло — и ничего,
встречу в клубе эту старушонку,
сразу вспомню

бешено и звонко
сказанное слово: существо.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

- А на что вы согласны?
- На все.
- А на что вы способны?
- На многое.
- И на то, что ужасно?
- Да.
- То, что подло и злобно?
- Конечно.

От решимости вот такой,
раздирающей смело действительность,
предпочтешь и вялый покой,
и ничтожную нерешительность.

- Как же так на все до конца?
- Это нам проще простого.
- И отца?
- Если надо — отца.
- Сына?
- Да хоть духа святого.

* * *

Было право на труд и на отдых.
Обеспечили старость мою.
Воспевали во многих одах
право с честью погибнуть в бою.
Не описано только историями,
ни один не содержит аннал
право жизни и смерти, которыми
я частенько располагал.
Мне недолго давалось для выбора:
день-два, даже час-два,
отсеченью или же выговору
подлежала одна голова.
Пожурить и на фронт отправить
или как пылинку смахнуть.
Ни карать не хочу, ни править.
Это — только себя обмануть.
Сколько мы народу истратили,
сколько в ссадинах и синяках.
Ни правителя, ни карателя
не выходит из нас никак.
Сколько мы народу обидели
на всю жизнь, на год, на час.
Ни карателя, ни правителя
получиться не может из нас.

* * *

Лезвий бритвенных в Пуле нету,
в Пуле, в той, что в конце планеты.
На околице дальней земли
отвечают: не завезли.

Ликование в частных цирюльнях.
Размышления в местном листке.
Лезвий нет! Пока мечут перуны,
правлю сточенные на руке.

А по Пуле идут туристы.
В их глазах озлобленье и суд.
Триста западных немцев. Триста
австрияков по Пуле идут.

Мы одни на земле югославской,
в отдаленьи от нашей земли,
с пониманьем встречаем и лаской
это робкое «не завезли».

* * *

Человек на развилке путей
прикрывает газетой глаза,
но куда он свернет,
напечатано в этой газете.

То ли просто без всяких затей,
то ли в виде абстрактных идей,
но куда он свернет,
напечатано в этой газете.

Он от солнца глаза заслонил.
Он давно прочитал и забыл.
Да, еще на рассвете.

На развилке пред ним два пути,
но куда ему все же идти,
напечатано в этой газете.

* * *

Переехало, раздавило,
словно кошку вдавило в шоссе.
Это что, лавина? Лавина.
Все — лавины! Оползни все.

Время! Это так называется.
Та эпоха, что после моей.
Надвигается, насувается
что-то вроде хребтов и морей.

Время. Осыпь недель и столетий,
а минут и секунд обвал.
Нет, не раз, не другой, не третий
я под временем побывал.

Мне глаза позапорошило.
Перепонки рвануло в ушах.
Старый, словно Клим Ворошилов,
поднимаюсь и делаю шаг.

И кадык у меня играет,
пробиваясь куда-то вовне,
и весь зал слеза пробирает,
и весь зал на моей стороне.

* * *

Я целые годы свои забыл:
что делал, где был.
Конечно, если подумаю — вспомню,
пробелы восполню.
Да только не хочется вспоминать,
приятнее перескочить через это,
а старые годы скорее сминать,
как старые газеты.

Но все-таки было несколько дней,
когда я был смелей и умней
своих природных возможностей,
работал сверх личных мощностей.
И все слова, словно бабочки белые,
летели только к моей свече,
и жизнь краснела как вишня спелая,
сидела соколом на плече.
Я шел и слушал щелк соловья,
певшего для меня соловейка.
А личная победа моя
впадала, как струйка, в победу века.

Давайте не будем держать в уме
дни остальные серо-стальные,
а только звонкие, цветные,
ручьями гласящие: конец зиме!
Давайте выбросим из головы
пасмурных дней сумрак
и вспомним горящие, как окна **Москвы**
в вечернее время суток.

* * *

Спешит закончить Эренбург
свои анналы,
как Петр — закончить Петербург:
дворцы, каналы.

Он тоже строит на песке
и на болоте
по любопытству, по тоске
и по охоте.

По непреодолимости
воспоминаний
и по необходимости
их воплощений,
и по неумоимости
своих желаний
и по неотвратимости
своих свершений.

* * *

А что же все-таки, если бог
и в самом деле есть?
Я прожил жизнь, не учитывая,
что он, быть может, есть.

Если он есть, он учтет
то, что я его не учел:
все смешки и насмешки мои,
все грешки и спешки мои.

Что же мне делать, если бог
в самом деле есть?

Он присмотрелся, наверно, ко мне.
Он меня взвесил и учел.
Вряд ли он позабыл,
что я его отрицал.
Вряд ли он меня простил,
если он все-таки есть.

* * *

Человек подсчитал свои силы,
перерыл кошню и суму.
От небесной, мучительной сини
стало ясно и просто ему.

Не удачу, а неудачу
демонстрирует верный итог.
Не восполнить ему недостачу:
захотел бы и все же не смог.

Он не только не может — не хочет
дело делать, слова лопотать.
Пусть отныне кто хочет хлопочет.
Он не станет теперь хлопотать.

От последней решительной ясности
начихать ему на опасности,
и какое-то — вроде тепла
наполняет сосуды и вены,
оттого что была и сплыла
жизнь.
Сплыла, как обыкновенно.

ВЫДЕРЖКА

Плакал старый сановник, узнав про инфаркт,
не тогда, когда внутренней финкой резнули,
а тогда, когда дети с женою заснули
и за окнами стих торопливый Арбат.

Боль была такова, что ни чин, ни права
и ни личные связи в аптечной конторе
исчерпать, а не то чтобы сжечь, это море
не могли. Боль была велика, как Москва.

Но старинная выдержка лет тридцати
заседаний и сессий, речей и молчания
помогла, пособила осилить отчаяние
и по этой тропе осторожно пройти.

Улыбаясь от бедствия, словно казах,
словно Азия перед зиянием бездны,
вел себя как обычно — спокойно, любезно
у семьи, у сиделки, у всех на глазах.

Личный опыт и знание того, что нельзя
и что все-таки можно, и бывшая закалка
помогли этот день, извиняясь, скользя,
перейти, пережить, впрочем — шатко и валко.

Но сейчас он остался один. Он закрыл
голубые глаза, впал во сны или в думы.
Шум семьи вскоре стих. Шум беды, ее крик,
плеск

покрыл, перекрыл маловажные шумы.

Ливень середь полей в сердцевине беды!
в урагане недоли! в потоке несчастья!

И тогда он заплакал: от боли отчасти
и отчасти от мысли: напрасны труды.

Да, напрасны усилия долгого дня
и деяния жизни короткой напрасны.
Это — ясно. А прочее было неясно
и ненужно. И смерть надвигалась звеня.

Значит, вот как приходит! Густеющий звон,
колокольный, набатный, нет, гуще и слаще.
Он последним усилием из гущи и чащи
вылез. Снялся с учета и выскочил вон.

БАЛЛАДА О ДОГМАТИКЕ

— Немецкий пролетарий не должён! —
Майор Петров, немецким войском битый,
ошеломлен, сбит с толку, поражен
неправильным развитием событий.

Гоним вдоль родины, как желтый лист,
гоним вдоль осени, под пулеметным свистом
майор кричал, что рурский металлист
не враг, а друг уральским металлистам.

Но рурский пролетарий сало жрал,
а также яйца, млеко, масло,
и что-то в нем, по-видимому, погасло,
он знать не знал про классы и Урал.

— По Ленину не так идти должно! —
Но войско перед немцем отходило,
раскручивалось страшное кино,
по Ленину пока не выходило.

По Ленину, по всем его томам,
по тридцати томам его собрания.
Хоть Ленин — ум и всем пример умам
и разобрался в том, что было ранее.

Когда же изменились времена
и мы — наперли весело и споро,
майор Петров решил: теперь война
пойдет по Ленину и по майору.

Все это было в марте, и снежок
выдерживал свободно полоз санный.
Майор Петров, словно Иван Сусанин,
свершил диалектический прыжок.

Он на санях сам-друг легко догнал
колонну отступающих баварцев.
Он думал объяснить им, дать сигнал,
он думал их уговорить сдаваться.

Язык противника не знал совсем
майор Петров, хоть много раз пытался.
Но слово «класс» — оно понятно всем,
и слово «Маркс», и слово «пролетарий».

Когда с него снимали сапоги,
не спрашивая соцпроисхождения,
когда без спешки и без снисхождения
ему прикладом вышибли мозги,

в сознании угаснувшем его,
несчастливого догматика Петрова,
не отразилось ровно ничего.
И если бы воскрес он — начал снова.

ВЕДРО МЕРТВЕЦКОЙ ВОДКИ

...Паек и водка.
Водки полагалось
сто грамм на человека.
Итак, паек и водка
выписывались старшине
на списочный состав,
на всех, кто жил и потому нуждался
в пайке и водке
для жизни и для боя.
Всем хотелось съесть
положенный паек
и выпить
положенную водку
до боя,
хотя старшины
распространяли слух,
что при раненьи
в живот
умрет скорее тот, кто съел паек.

Все то, что причиталось мертвецу
и не было востребовано им
при жизни, —
шло старшинам.
Поэтому ночами, после боя,
старшины пили.
По должности, по званию и по
веселому характеру
я мог бы
рассчитывать на приглашение
в землянку, где происходили
старшинские пиры.
Но после боя
очень страшно

слышать то, что говорят старшины,
считая мертвецов и умножая
их цифру на сто,
потому что водки
шло по сто грамм на человека.

...До сих пор
яснее голова
на то ведро
мертвецкой водки,
которую я не распил
в старшинском
блиндажике
зимой сорок второго года.

* * *

Вкладчик оползня,
соучастник обвала,
современник конца времен,
ничего тебя не миновало
из коллизий и перемен.

В каждой драке тебя драли,
в каждой битве тебя били.
Трали-вали? Нет, вали-трали?
Вот как именно жили-были.

От царапин, шрамов, увечий,
от морозов и от жары
облик выработан человеческий.
Он не канул в тартарары.

Обстоятельства убогие
не сильнее твоих идей.
И глаза у тебя глубокие,
как у всех хороших людей.

* * *

Начинается расчет со Сталиным,
и — всерьез. Без криков и обид.
Прах его, у стен Кремля оставленный,
страх пускай колеблет и знобит.
Начинается спокойный
долгий и серьезный разговор.
Пусть ответит наконец покойник,
сумрачно молчавший до сих пор.
Нет, не зря он руган был и топтан.
Нет, не зря переменил жильё.
Монолог обидчивый закончен.
Хор народа говорит свое.

ВСКРЫТИЕ МОЩЕЙ

Когда отвалили плиту,
смотрели на полую бездну —
в бескрайнюю пустоту —
внимательно и бесполезно.

Была пустота та пуста.
Без дна была бездна, без края,
и бездна открылась вторая
в том месте, где кончилась та.

Так что ж, ничего? Ни черта.

Так что ж? Никого? Никого —
ни лиц, ни легенд, ни событий.
А было ведь столько всего:
надежд, упований, наитий.
И вот — никого. Ничего.

Так ставьте скорее гранит,
и бездну скорей прикрывайте,
и тщательнее скрывайте
тот нуль, что бескрайность хранит.

* * *

Мариэтта и Маргарита
и к тому же Ольга Берггольц —
это не перекатная голь!
Это тоже не будет забыто.

Не учитывая обстановки
в данном пункте планеты Земли,
надевали свои обновки,
на прием в правительство шли.

Исходили из сердобольности,
из старинной женской вольности,
из каких-то неписанных прав,
из того, что честный прав.

Как учили их уму-разуму!
Как не выучили ничему!
Никогда, совершенно, ни разу!
Нет, ни разуму, ни уму!

Если органы директивные,
ощутив побужденья активные
повлиять на наш коллектив
или что-то еще ощутив,
созовут нас на собеседованье,
на банкет нас пригласят,
вновь услышится это сетованье,
эти вопли зал огласят.

Маргарита губы подмажет
и опять что-нибудь да скажет.
Мариэтта, свой аппарат
слуховой отключив от спора,
вовлечет весь аппарат
государственный в дебри спора.

Ольга выпьет и не закусит,
снова выпьет и повторит,
а потом удила закусит,
вряд ли ведая, что творит,
что творит и что говорит.

Выступленья их неуместные
не предупредить, как чуму,
а писательницы — известные!
А не могут понять что к чему!

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Минуя свое прямое начальство,
минуя следующее начальство,
минуя самое большое,
обращаюсь с открытой душой
прямо к читателю.

Товарищ читатель, купивший меня
за незаметную для бюджета
сумму,

но ждущий от поэта
поддержки внутреннего огня.
Товарищ читатель! Я остался
таким, как был. Но я — устал.
Не то чтобы вовсе излетался,
но полклубка уже размотал.

Как спутник, выпущенный на орбиту
труда и быта,
скоро

в верхний слой атмосферы
войду. И по-видимому — сгорю.
Но то, что я говорю,
быть может, не будет сразу забыто.
Не зря я копался в своем языке.
Не зря мое время во мне копалось:
старый символ поэзии — парус —
год или два

я сжимал в руке.
Год или два
те слова,
что я писал,
говорила Москва.

Оно отошло давным-давно,
время,
 выраженное мною,
с его войною и послевойною.

Но,
как в хроникальном кино,
то, что снято, то свято.

Вечность
 даже случайного взгляда,
какие-то стороны, грани, края
запечатлели пленка и я.

Храните меня в Белых Столбах,
в знаменитом киноархиве,
с фильмами — хорошими и плохими,
с песней,
 почему-то забытой в губах.

* * *

Категориальное мышление,
делящее население
на четыре сорта или пять,
объявляется опять.

Между тем
сортов гораздо больше,
я неоднократно замечал:
столько же,
сколько поляков в Польше,
в Англии, к примеру, англичан.

И любая капля в море
громко заявляет о своем
личном, собственном,
отдельном горе,
воплем оглашает окоем.

И любая личная трагедия
катастрофе мировой равна,
и вина пред личностью — вина
перед человечеством,
не менее.

Общества и личности пропорции
обобщать и упрощать
почти то же,
что тащить и не пущать.

Так отбросим прочь
мегаломанию,
заменив ее совсем
эрой поголовного внимания
всех ко всем.

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НЕУДАЧА

Крепко надеясь на неудачу,
на неуспех, на не как у всех,
я не беру мелкую сдачу
и позволяю едкий смех.

Крепко веря в послезавтра,
твердо помню позавчера.
Я не унижусь до азарта:
это еще небольшая игра.

А вы играли в большие игры,
когда на компасах пляшут иглы,
когда соборы, словно заборы,
падают, капителями пыля,
и полем,
 ровным, как для футбола,
становится городская земля?

А вы играли в сорокаградусный
мороз в пехоту, вжатую в лед,
и крик комиссара, нервный и радостный:
— За Родину! (И еще кой за что!) Вперед!

Охотники, рыбаки, бродяги,
творческие командировщики
 с подвешенным языком,
а вы тянули ваши бодяги
не перед залом — перед полком?

* * *

Воспитан в духе жадной простоты
с ее необходимостью железной,
я трачу на съедобное, полезное,
а Таня любит покупать цветы.

Цветок — он что? Живет не больше дня,
от силы два. А после он завянет.
Но Таня молча слушает меня —
любить цветы она не перестанет.

Вдруг тень ее мелькает на стене.
Вдруг на столе горячий светик вспыхнет.
И что-то засветилось во мне:
цветок, цветок, цветок пришел ко мне —
на малое великое подвигнет.

* * *

Сласть власти не имеет власти
над власть имущими, всеми подряд.
Теперь, когда объявят: «Слазьте!» —
слезают и благодарят.

Теперь не каторга и ссылка,
куда раз в год одна посылка,
а сохраняемая дача,
в энциклопедии — столбцы,
и можно, о судьбе судача,
выращивать хоть огурцы.

А власть — не так она сладка
седьмой десяток разменявшим.
Ненашим угоди и нашим,
солги, сообрази, слукавь.
Устал тот ветер, что листал
страницы мировой истории.

Какой-то перерыв настал,
словно антракт в консерватории.
Мелодий — нет. Гармоний — нет.
Все устремляются в буфет.

ОБОИ

Я в этот сельский дом заеду,
как уж не раз случалось мне,
и прошлогоднюю газету
найду — обоим — на стене.

Как новость преобразовалась!
Когда-то юная была
и жизнью интересовалась,
а ныне на стену пошла.

Приклеена или прибита,
как ни устроили ее,
она пошла на службу быта
без перехода в бытие.

Ее захваты и поджоги,
случившиеся год назад,
уже не вызывают шоки,
смешат скорее, чем страшат.

Совсем недавно было это:
горит поджог, вопит захват.
Захлебываясь, газеты
об этом правду говорят.

Но уши мира — привыкают,
и очи мира — устают,
и вот уже не развлекают
былые правды их уют,

и вот уже к стене тесовой
или какой другой любой
приклеен мир, когда-то новый,
а ныне годный на обой.

* * *

Деревня, а по сути дела — весь.
История не проходила здесь.
Не то двадцатый век, не то двадцатый
до Рождества Христова, и стрельчатый
готический седой сосновый бор
гудит с тех пор и до сих пор.

Не то двадцатый век, не то второй.
Забытая старинною игрой
в историю

извечная избенка
и тихий безнадежный плач ребенка.
Земля и небо. Между — человек.
Деталей нет. Невесть который век.

* * *

Плохие времена тем хороши,
что выявлению качества души
способствуют и казни, и война,
и глад, и мор — плохие времена.

Пока ты цел, пока ты сыт, здоров,
не зван в суды, не вызвал докторов,
неведомы твой потолок и цель,
параметры — темны, пока ты цел.

Когда ты бит, когда тебя трясут,
и заедает вошь, и мучит суд,
ты бытию предпочитаешь быт.
Все выясняется, когда ты бит.

Но иногда все существо твое
предпочитает все же
бытие,
и власть теряет над людьми беда,
когда бывает это иногда.

* * *

Десятилетье Двадцатого съезда,
ставшего личной моей судьбой,
праздную наедине с собой.

Все-таки был ты. Тебя провели.
Меж Девятнадцатым и Двадцать первым —
громом с неба, ударом по нервам,

восстановлением ленинских норм
и возвращением истории в книги,
съезд, возгласивший великие сдвиги!

Все-таки был ты. И я исходил
из твоих прений, докладов, решений
для своих личных побед и свершений.

Ныне, когда поняли все,
что из истории, словно из песни,
слово — не выкинь, хоть лопни и тресни,

я утверждаю: все же ты был,
в самом конце зимы, у истока,
в самом начале весеннего срока.

Все же ты был.

ПЕРВЫЙ ОВОЩ

Зубы крепко, как члены в президиуме,
заседали в его челюстях.
В полном здравии, в лучшем виде, уме,
здоровяк, спортсмен, холостяк,
воплощенный здравый рассудок,
доставала, мастер, мастак,
десяти минуток из суток
не живущий просто так.

Золотеющий лучшим колосом
во общественном во снопу,
хорошо поставленным голосом
привлекает к себе толпу.
Хорошо проверенным фактом
сокрушает противника он,
мерой, верой, тоном и тактом,
как гранатами, вооружен.

Шкалик, им за обедом выпитый,
вдохновляет его на дела.
И костюм сидит, словно вылитый,
и сигара сгорает дотла.

Нервы в полном порядке, и совесть
тоже в полном порядке.
Вот он, этой эпохи новость,
первый овощ, вскочивший на грядке.

* * *

Девушки, достигнув восемнадцати,
жаждут красоваться и лобзать.
Юноши, достигнув восемнадцати,
не хотят
в историю влезать.

Нет, не в милицейскую историю,
а в большую русскую историю,
в пятитомного Ключевского,
в том шестой,
и в тридцатитомного огромного
Соловьева.
Хочется им легкой и простой
жизни
без размаха и объема.

Да, устали от пяти томов,
и от курса краткого устали,
и портянок не перемотали
у горячих батарей домов
свежевыстроенных, кооперативных.
Нынче мало глупых и активных.

ВАЛЯНЬЕ ВАНЬКИ

Валяют Ваньку. Но Ваньке валянье —
вострый нож. Вострее ножа.
И Ванька начинает вилянье
на самой грани. У рубежа.
На грани смерти и несмерти,
там, где граничат жизнь и нежизнь,
Ванька, разобравшись в предмете,
шепчет себе то «Встань!», то «Ложись!».
Он то встанет, то сядет, то ляжет,
то растерян, то снова рьян.
Только никто ему не скажет:
— Иди, Ванюша! Гуляй, Иван!

В чем вина его? За что валяют
и распрямиться не позволяют?
За что пинают, ногами бьют
и приподняться не дают?
Ванька встревожен и недоволен,
но понимает, что одинок.
А один — в поле не воин.

Вот его снова валят с ног.
Снова валят и снова валяют,
снова кричат, что Ванька — дурак,
и нервы Ванькины гуляют,
а делать — что?
А быть-то — как?

КНОПКА

Довертелась земля до ручки,
докрутилась до кнопки земля.
Как нажмут — превратятся в тучки
океаны

и в пыль — поля.

Вижу, вижу, чувствую контуры
этой самой, секретной комнаты.
Вижу кнопку. Вижу щит.
У щита человек сидит.

Офицер невысокого звания —
капитанский как будто чин,
и техническое образование
он, конечно, не получил.

Дома ждут его, не дождутся.
Дома вежливо молят мадонн,
чтоб скорей отбывалось дежурство,
и готовят пирамидон.

Довертелась земля до ручки,
докрутилась до рычага.
Как нажмут — превратится в тучки.
А до ручки — четыре шага.

Ходит ночь напролет у кнопки.
Подойдет. Поглядит. Отойдет.
Станет зябко ему и знобко...
И опять всю ночь напролет.

Бледно-синий от нервной трясучки,
голубой от тихой тоски,
сдаст по описи кнопки и ручки
и поедет домой на такси,

А рассвет, услышавший несмело,
что он может еще рассветать,
торопливо возьмется за дело.
Птички робко начнут щебетать,

набухшая почка треснет,
на крылечке скрипнет доска,
и жена его перекрестит
на пороге его домка.

* * *

Разрывы авиабомб напоминают деревья.
Атомные взрывы напоминают грибы.
Что ж! К простому от сложного проистекает кочевье
нашей судьбы.

Следующая гибель будет похожа на плесень,
будет столь же бесхитростна и сыровата — проста.
А после нее не будет ни сравнений, ни песен —
ни черта.

СУДЬБА

Где-то в небе летит ракета.
Если верить общей молве,
отношенье имеет это
между прочих — к моей судьбе.

Побывала судьба — политикой.
Побывала — газетной критикой.
Побывала — большой войной.
А теперь она — вновь надо мной.

А сейчас она — просто серая,
яйцевидная, может быть,
и ее выпускают серийей.
Это тоже нельзя забыть.

А ракеты летят, как стаи
журавлей или лебедей,
и судьба — совсем простая,
как у всех остальных людей.

* * *

Будущее, будь каким ни будешь!
Будь каким ни будешь, только будь.
Вдруг запомнюешь нас, забудешь.
Не оставь, не брось, не позабудь.

Мы такое видели. Такое
пережили в поле и степи!
Даже и без воли и покоя
будь каким ни будешь! Наступи!

Приходи в пожарах и ознобах,
в гладе, в зное, в холоде любом,
только б не открылся конкурс кнопок,
матч разрывов, состязанье бомб.

Дай работу нашей слабосилке,
жизнь продли. И — нашу. И — врагам.
Если умирать, так пусть носилки
унесут. Не просто ураган.

ИНСТИТУТ

В том институте, словно караси
в пруду,
плескались и кормов просили
веселые историки Руси
и хмурые историки России.

В один буфет хлебать один компот
и грызть одни и те же бутерброды
ходили годы взводы или роты
историков, определявших: тот
путь выбрало дворянство и крестьянство?
и как же Сталин? прав или не прав?
и сколько неприятностей и прав
дало Руси введение христианства?

Конечно, если водку не хлебать
хоть раз бы в день, ну, скажем, в ужин,
они б усердней стали разгребать
навозны кучи в поисках жемчужин.

Лежали втуне мнения и знания:
как правильно глаголят Маркс и я,
благопристойность бытия
вела к неинтересности сознания.

Тяжелые, словно вериги, книги,
которые писались про сдвиги
и про скачки всех государств земли, —
в макулатуру без разрезки шли.

Тот институт, где полуправды дух,
веселый, тонкий, как одеколонный,
витал над перистилем и колонной, —
тот институт усердно врал за двух.

* * *

Необходима цель
стране и человеку.
Минуте, дню и веку
необходима цель.

Минуту исключим.
И даже день, пожалуй, —
пустой бывает, шалый,
без следствий и причин.

Но век или народ
немыслим без заданья.
По дебрям мирозданья
без цели не пройдет.

Особенно когда
тяжелая година,
цель так необходима,
как хлеб или вода.

Пусть где-нибудь вдали
фонарик нам посветит
и людям цель отметит,
чтоб мы вперед пошли.

* * *

В этот день не обходили лужи —
шлепали ногами по воде,
хоть, наверно, понимали: лучше
обойти посуше где.

В этот полдень солнце не блистало.
В эту полночь спряталась луна.
Шли по лужам, думая устало:
обходить? какого там рожна!

Все подробности позабылись,
тени не наводят на плетень.
Помню только: ноги ознобились
в этот день.

* * *

Пока меня за руки держат,
я сосредоточен и сдержан
и вяло мотаю башкой
под чьей-нибудь тяжелой рукой.

Но только мне руки отпустят —
да что там! хотя бы одну, —
но только до драки допустят,
я тотчас же драку начну.

Не вечный бой, как у Блока,
а просто — долгая драка,
но это — тоже неплохо,
и выделяет из праха,
и выделяет из пыли,
из человеческой моли,
когда ты в пене и мыле,
забывая о боли,
от боли, уже нестрашной,
качаясь, как трава,
в уличной, в рукопашной
качаешь свои права.

* * *

Я был плохой приметой,
я был травой примятой,
я белой был вороной,
я воблой был вареной.
Я был кольцом на пне,
я был лицом в окне
на сотом этаже...
Всем этим был уже.

А чем теперь мне стать бы?
Почтенным генералом,
зовомым на все свадьбы?
Учебным минералом,
положенным в музее
под толстое стекло
на радость ротозею,
ценителю назло?

Подстрочным примечаньем?
Привычкой порочной?
Отчаяньем? Молчаньем?
Нет, просто — строчкой точной,
не знающей покоя,
волнующей строкою,
и словом, оборотом,
исполненным огня,
излюбленным народом,
забывшим про меня...

* * *

Пошуми мне, судьба, расскажи,
до которой дойду межи.
Отзови ты меня в сторонку,
дай прочесть мою похоронку,
чтобы точно знал: где, как,
год, месяц, число, место.
А за что, я знаю и так,
об этом рассуждать неуместно.

СКВОЗЬ МУТНОЕ СТЕКЛО ОКНА

В окне — четыре этажа,
быть может, двадцать биографий
просвечивают, мельтеша,
сквозь стекла и сквозь ткань гардин
всем блеском разноцветных граней.

Их описатель я — один.
Да, если я не разберусь
сквозь ливня полосу косую,
их радость канет, сгинет грусть,
их жизнь пройдет зазря и всуе,
промчится неотражена,
замрет, отдышит невоспета.
Напрасно мужа ждет жена,
напрасно лампа зажжена,
и все напрасно без поэта.

Куплю подзорную трубу
и посвящу себя труду
разглядыванья, изученья
и описанья. Назначенье
свое, стезю свою, судьбу
в соседских окнах я найду.

* * *

Что нужно на дожитие тирану,
который снят с работы слишком рано,
сменен, но не заколот и не изгнан
и даже пенсии достойным
признан?

Тиран, который жил в палате душной,
оценит в должной мере свежий воздух.
Добру и злу внимая равнодушно,
он говорит о небесах и звездах.

Тиран с усмешкою глядит на смену:
кишки тонки, слабы коленки,
живут не так, работают не смело.
Бессильные! Духовные калеки!

В горячую грязцу воспоминаний
года уже тирана повалили.
Он с нетерпеньем ждет упоминаний
историка, его хвалы, хулы ли.

Завалинка, где он обязан греться
под зябким, хладным солнышком забвенья,
ему шикарней Римов или Греций
покажется, но на одно мгновенье.

И здравый смысл, что выволоч когда-то
из грязи в князи,
вновь его находит.
И твердым шагом бывшего солдата
тиран
от милых призраков уходит.

* * *

Вот она, отныне святая,
пустота,
как прежде — пустая,
полая, как гнилой орех,
но святая — почти для всех.

Принимаю без всякой тревоги
и терпеть без претензий готов,
что на шеях куриные боги
вместо тех человеческих крестов.

Эти мелкие дыры сквозные,
эти символы пустоты
и сменили и заменили
все, что людям несли кресты.

Хоть они и пусты и наги,
в них все признаки смены веков —
тоже знаменья, тоже знаки,
выражают тоже свой век.

И лежат они на загарах,
и висят они на шнуре,
как блестели кресты на соборах,
золотели на заре.

Перепробовав все на свете,
мы невиннее, чем слеза.
Снова мы, как малые дети,
начинаем с начала, с аза.

Комья глины на крышку гроба валя
(ноне старым богам — не житье),
пустоту мы еще не пробовали.
Что ж! Попробуем и ее.

* * *

Игра не согласна,
чтоб я соблюдал ее правила.
Она меня властно
и вразумляла и правила.

Она меня жестко
в свои вовлекала дела
и мучила шерстку,
когда против шерстки вела.

Но все перепробы,
повторные эксперименты
мертвы, аки гробы,
вонючи же, как экскременты.

Судьба — словно дышло.
Игра — забирает всего,
и, значит, не вышло,
не вышло совсем ничего.

Разумная твердость —
не вышла, не вышла, не вышла.
Законная гордость —
не вышла, не вышла, не вышла.

Не вышел процент
толстокожести необходимой.
Я — интеллигент
тонкокожий и победимый.

А как помогали,
учили охотно всему!
Теперь под ногами
вертеться совсем ни к чему.

И, бросив дела,
я поспешно иду со двора,
иду от стола,
где еще протекает игра.

* * *

Я в ваших хороводах отплясал.
Я в ваших водоемах откупался.
Наверно, полужизнью откупался
за то, что в это дело я влезал.

Я был в игре. Теперь я вне игры.
Теперь я ваши разгадал кроссворды.
Я требую раскола и развода
и права удирать в тартарары.

* * *

Дайте мне прийти в свое отчаянье:
ваше разделить я не могу.
А покуда — полное молчанье,
тишина и ни гугу.
Я, конечно, крепко с вами связан,
но не до конца привязан к вам.
Я не обязательно обязан
разделить ваш ужас, стыд и срам.

* * *

Смолоду и сдуру —
мучились и гибли.
Зрелость это — сдула.
Годы это — сшибли.

Смолоду и сослепу
тыкались щенками.
А теперь-то? После-то?
С битыми щеками?

А теперь-то нам-то
гибнуть вовсе скушно.
Надо, значит — надо.
Нужно, значит — нужно.

И толчется совесть,
словно кровь под кожей.
Зрелость или псовость —
как они похожи.

* * *

Эпоха закончилась. Надо ее описать.
Ну, пусть не эпоха — период, этап,
но надо его описать, от забвенья спасать,
не то он забудется.

Не то затеряют его, заровняют его,
он прочерком, пропуском станет,
и что-то — в ничто превратится.
И ничего
в истории из него не застрянет.

Этап — завершился. А я был в начале этапа.
Я видел его замечательную середину
и ту окончательную рутину,
в которой застряли от ездового до штаба
все.

Я прожил этап не единоличником, частником:
свидетелем был и участником был.
Возможно, что скажут теперь — соучастником.
Действительно, я отвечаю не меньше других.

А что ж! Раз эпоха была и сплыла —
и я вместе с нею сплыву неумело и смело.
Пускай меня крошкой смахнут вместе с ней со
стола,
с доски мокрой тряпкой смахнут, наподобие мела.

* * *

Интересные своеобразные люди
приезжают из Веси, и Мери, и Чуди,
приспосабливают свой обычай
к современным законам Москвы
или нрав свой волчий и бычий
тащат, не склонив головы.
И Москва, что гордилась и чудом и мерой,
проникается Чудью и Мерей.
Вся Москва проникается Весью
от подвалов и до поднебесья.
И из этой смеси
в равной мере Москвы и Веси,
в равной мере
Москвы и Мери
возникает чудо
из Москвы и Чуди.

* * *

Поумнели дураки, а умники
стали мудрецами.
Глупости — редчайшие, как уники.
Сводятся везде концы с концами.
Шалое двадцатое столетье,
дикое, лихое,
вдруг напоминает предыдущее —
тихое такое.
Может быть, оно утихомирится
в самом деле?
Перемен великая сумятица
на пределе.
Может, войн и революций стоимость
после сверки и проверки
к жизни вызовет благопристойность
девятнадцатого века.

* * *

Я вдруг заметил, что рассказы —
история вслед за историей
не слушаются, а точнее,
не слышатся аудиторией.

Родители, сироты, вдовы
устали от всего такого:
от поражения возле Гдова
и от победы возле Пскова.

Их память не сопоставлялась
с одическими восклицаньями,
а жажда их не утолялась
бряцаньями и прорицаньями.

Война штабов, война умов,
сказания о взятых замках
не доходили до домов,
до фотографий в черных рамках.

Но лучшей музыкой как будто
звучали справки жестяные:
во что одеты, как обуты
солдаты, их бойцы родные.

Переплывали реки с ними,
терпели зиму, лета ждали —
и с кадровыми, и с приписными, —
и гордо вешали медали.

И сводку слушали, и водку
внутри принимали граммов по сту,
и на прямую шли наводку,
дивясь сноровке и упорству.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПАВЛЕ КОГАНЕ

Разрыв-травой, травую повиликой
мы прорастем по горькой, по великой
по нашей кровью политой земле.

*(Из несохранившегося стихотворения
Павла Когана)*

Павел Коган, это имя
уложилось в две стопы хорей.
Больше ни во что не уложилось.

Головою выше всех ранжиров
на голову возвышался.
Из литературы, из окопа
вылезала эта голова.

Вылезала и торчала
с гневными веселыми глазами,
с черной, ухарской прической,
с ласковым презрением к друзьям.

Павел Коган взваливал на плечи
на шестнадцать килограммов больше,
чем выдерживал его костяк,
а несвоевременные речи —
гордый, словно Польша, —
это почитал он за пустяк.

Вечно преждевременный, навечно
довременный и послевременный Павел
не был своевременным, конечно.
Впрочем, это он и в грош не ставил.
Мало он ценил все то, что ценим,
мало уважал, что уважаем.
Почему-то стал он этим ценен
и за это обожаем.

Пиджачок. Рубашка нараспашку.
В лейтенантской форме не припомню...

В октябре, таща свое раненье
на плече (сухой и жесткой коркой),
прибыл я в Москву, а назначенье
новое, на фронт, — не приходило.
Где я жил тогда и чем питался,
по каким квартирам я скитался,
это — не припомню.

Ничего не помню, кроме сводок.
Бархатистый голос,
годный для приказов о победах,
сладостно вещал о пораженьях.
Государственная глотка
объявляла горе государству.
Помню список сданных нами градов,
княжеских, тысячелетних...

В это время встретились мы с Павлом
и полночи с ним проговорили.
Вспоминали мы былое,
будущее предвкушали
и прощались, зная: расстаемся
не на день-другой,
не на год-другой,
а на век-другой.

Он писал мне с фронта что-то вроде:
«Как лингвист, я пропадаю:
полное отсутствие объектов».
Не было объектов, то есть пленных.
Полковому переводчику
(должность Павла)
не было работы.

Вот тогда-то Павел начал лазать
по ночам в немецкие окопы
за объектами допроса.
До сих пор мне неизвестно,
сколько языков он приволок.
До сих пор мне неизвестно,
удалось ему поупражняться
в формулах военного допроса
или же без видимого толка

Павла Когана убило.
В сумрачный и зябкий день декабрьский
из дивизии я был отпущен на день
в городок Сухиничи
и немедля заказал по почте
все меню московских телефонов.

Перезябшая телефонистка
раза три устало сообщала:
«Ваши номера не отвечают»,
а потом какой-то номер
вдруг ответил строчкой из Багрицкого:
«...Когана убило».

* * *

Снова дикция — та, пропитая,
и чернильница — та, без чернил.
Снова зависть и стыд испытаю,
потому что не я сочинил.

Снова мне — с усмешкой, с насмешкой,
с издевательством, от души
скажут — что ж, догоняй, не мешкай,
хоть когда-нибудь так напиши.

В нашем цехе не учат даром!
И сегодня, как позавчера,
только мучат с пылом и с жаром
наши пьяные мастера.

Мучат! — верно, но также — учат.
Бьют! Но больше за дело бьют.
Объясняют нам нашу участь,
оступиться в нее не дают.

Не намного он был меня старше,
но я за три считал каждый год.
При таком, при эдаком стаже
сколько прав у него, сколько льгот!

Пожелтела, поблекла кожа —
и ухмылка нехороша.
С бахромою на брюках схожа
пропитая его душа.

Все равно я снимаю шапку,
низко кланяюсь, благодарю,
уходя по ступеням шатким,
тем же пламенем смрадным горю.



Сельвинский — брошенная зона
геологической разведки,
милion квадратных километров
надежд, оставленных давно.
А был не полтора сезона,
три полноценных пятилетки,
вождь из вождей
и мэтр из мэтров.
Он нем! Как тех же лет кино.

Кино немое! Эту пленку
до Марса можно растянуть,
да только некому и некогда
и ни к чему ее тянуть.
Кино немое! Ононемевшее
давным-давно,
когда к экранам звуковое
шумливо ринулось кино.

Я лекции за ним записывал.
Он выставлял отметки мне.
От мнения его зависело,
обедал я или же не.
Но ситуация — иная:
уроки сам теперь даю,
Сельвинского не вспоминаю
и каждый день обедаю.

Да, демон отлетался. Маршал
отвоевался. Стих муссон.
Увидит и рукою машет,
сердечно радуется он.
А я душевно и сердечно
рад, что он рад. Рад, что он бодр.

Рад, что безбедно и беспечно
он сыт, одет, обут и горд.

Пять строк в истории всемирной,
листок — в истории родной
поэзии. Лукав, как мирный
чеченец. (Правильней: «мирной».)
Раздумчив, напряжен, обидчив,
в политике довольно сбивчив,
в поэтике отлично тверд,
одет, обут, и сыт, и горд.

Учитель! К счастью ль, к сожаленью,
учился — я, он — поучал.
А я не отличался ленью.
Он многое в меня вкачал.
Он до сих пор неровно дышит
к тому, что я в стихах толку.
Недаром мне на книгах пишет:
любимому ученику.

По воле или по неволе
мы эту дань отдать должны.
Мы не вольны в семье и в школе,
в учителях мы не вольны.
Учение: в нем есть порука
взаимная, как на войне.
Мы отвечаем друг за друга.
Его колотят — больно мне.

* * *

Было много жалости и горечи.
Это не поднимет, не разбудит.
Скучно будет без Ильи Григорьича.
Тихо будет.

Необычно расшумелись похороны:
давка, драка.
Это все прошло, а прахам поровну
выдается тишины и мрака.

Как народ, рвалась интеллигенция.
Старики, как молодые,
выстояли очередь на Герцена.
Мимо гроба тихо проходили.

Эту свалку, эти дебри
выиграл, конечно, он вчистую.
Усмехнулся, если поглядел бы
ту толпу горячую, густую.

Эти искаженные отчаяньем
старые и молодые лица,
что пришли к еврейскому печальнику,
справедливцу и нетерпеливцу,

что пришли к писателю прошений
за униженных и оскорбленных.
Так он, лежа в саванах, в пеленах,
выиграл последнее сражение.

* * *

Покуда полная правда
как мышь дрожала в углу,
одна неполная правда
вела большую игру.

Она не все говорила,
но почти все говорила:
работала, не молчала
и кое-что означала.

Слова-то люди забудут,
но долго помнить будут
качавшегося на эстраде —
подсолнухом на ветру,
добра и славы ради
затеявшего игру.

И пусть сначала для славы,
только потом — для добра.
Пусть написано слабо,
пусть подкладка пестра,
а все-таки он качался,
качался и не кончался,
качался и не отчаивался,
качался, но не закаивался.

* * *

Когда маячишь на эстраде
не суеты и славы ради,
не чтобы за нос провести,
а чтобы слово пронести,

сперва — молчат. А что ж ты думал:
прочел, проговорил стихи
и, как пылинку с локтя, сдунул
своей профессии грехи?

Будь счастлив этим недоверьем.
Плати, как честный человек,
за недовесы, недомеры
своих талантливых коллег.

Плати вперед, сполна, натурой,
без торгу отпуская в кредит
тому, кто, хмурый и понурый,
во тьме безмысленно сидит.

Проси его поверить снова,
что обещанное слово
готово кровью смыть позор.
Заставь его ввязаться в спор,

чтоб — слушал. Пусть сперва со злобой,
но слушал, слышал и внимал,
чтоб вдумывался, понимал
своей башкою крутолобой.

И зарабатывай хлопóк —
как обрабатывают хлопóк.
О, как легко ходить в холопах,
как трудно уклоняться вбок.

* * *

Умер человек, не собиравшийся,
не предполагавший умереть.
Гром из тучи, над другим собравшейся,
предпочел его с земли стереть.

Шел он, огибая и минуя,
уклоняясь, ускользя, шел,
но судьбу ничто не обмануло,
и чужой конец его нашел.

В долгий ящик, в длинный ящик гроба
сунуты надежды и дела.
Как надежного он жаждал крова!
Как ему могила подошла.

* * *

Самоубийство — храбрость труса,
а может быть — и просто храбрость,
когда ломается от груза
сухих костей пустая дряблость.

Самоубийство — это бегство,
но из тюрьмы в освобожденье,
всех клятв — и юности и детства —
одним ударом — исполненье.

Одним рывком — бросок в свободу,
минуя месяцы и годы,
минуя все огни и воды
и медные трубопроводы.

Самоубийства или войны,
на мостовой или в больнице —
у мертвецов всегда спокойны,
достойны и довольны лица.

ПОРЯДОК

А Блока выселили перед смертью.
Шло уплотнение, и Блока уплотнили.
Он книги продавал и перелистывал,
и складывал, и перевязывал.
Огромную, давно неремонтированную
и неметеную квартиру жизни
он перед смертью вымыл, вымел, вымерял,
налаживал и обревизовал.

Я помню стол внезапно умершего
поэта Николая Заболоцкого.
Порядок был на письменном столе.
Все черновое было уничтожено.
Все беловое было упорядочено,
перепечатано и вычитано.
И черный, торжественный, парадный
костюм, заказанный заранее,
поспел в тот день.
Растерянный портной
со свертком в дрогнувших руках
смотрел на важного, спокойного
поэта Николая Алексеевича,
в порядке, в чистой глаженной пижаме
лежащего на вымытом полу.
Порядок!

* * *

Самоубийцы самодержавно,
без консультаций и утверждений,
жизнь, принадлежащую миру,
реквизируют в свою пользу.
Не согласовав с начальством,
не предупредив соседей,
не выписавшись, не снявшись с учета,
не выключив газа и света,
выезжают из жизни.
Это нарушает порядок,
и всегда нарушало.
Поэтому их штрафуют,
например, не упоминают
в тех обоймах, перечнях, списках,
из которых с такой охотой
удирали самоубийцы.

МЫ С БОГОМ

Когда наконец докажется
существование бога
и даже местоположение,
координаты его —
одновременно выяснится,
что толку с него — немного,
а если сказать по совести,
то вовсе всего-ничего.

Окажется: бог сам по себе,
а мы, точно так же, сами по себе.
У нас — своя забота.
У бога работа своя.
И ничего не изменится
в его судьбе
и в нашей судьбе.
Лишь резче обозначатся
его и наши края.

И станет еще прохладнее
в холодной междупланетности.
И станет еще нахальнее
на наших материках,
когда наконец окажется,
что нечего богу нам нести,
окажется, что оказываемся
мы с богом — в дураках.

* * *

Пляшем, как железные опилки
во магнитном поле
по магнитной воле,
по ее свирели и сопилке.

То попляшем, то сойдемся в кучки:
я и остальные.
Полюса стальные
довели до ручки.

Слишком долго этот танец,
это действие длилось.
Как ни осознай необходимость,
все равно свободой не станет.

То, что то заботой, то работой
было в бытии, в сознании,
даже после осознания
не становится свободой.

Известкует кости или вены,
оседает, словно пыль на бронхи,
а свобода — дальняя сторонка,
как обыкновенно.

* * *

Везло по мелочам
и поздно или рано
то деньги получал,
то заживала рана.

По мелочам везло,
счастливилось, бывало.
Но мировое зло
росло, не убывало.

Выигрывался день,
проигрывалась вечность,
а тлен и дребедень
приобретали вещьность,

и чепуха росла,
и ерунда мужала —
до мирового зла,
до мирового жала.

Зарок, что с детства дал,
мог вызвать только жалость:
в сраженьях побеждал,
но войны продолжались.

Наверное, не мне
достанется удача
в той победить войне
и ту решить задачу.

* * *

Что-то дробно звенит в телефоне:
то ли техника, то ли политика.
Также долг подключался ко мне.
То в долге, а то и в законе,
перечитанном по листику,
то — в четырехлетней войне.

Долг — наверно, от слова «долго» —
долог, истов, прям, остер,
как сектант такого толка,
что за веру идет на костер.

Долг. Звуки похожи на гонг.
На звонок сухой, короткий.
А висит на тебе колодкой.
Почему? Не возьму я в толк.

Долг в меня, наверное, вложен,
вставлен, как позвоночный столб.
Неужели он ложен, ложен,
мой долг,
этот долг?

* * *

Я связан со временем,
с годом — двумя,
с двумя с половиной годами.
А их и не ждали, идущих гремя,
не думали, не гадали.

Никто не готовился.
Я был готов
к пришествию этих гремучих годов.

Года отгремели, а я еще год,
как эхо годов отгремевших,
шумел, словно эхо отобранных льгот,
на что-то надеялся, мешкал.

Потом это все позабылось, прошло
и номером
в опись архивов вошло.

* * *

Несчастья — были. Умирали други.
Землетрясения крушили города.
Но никогда не опускались руки:
несчастье, горе — это не беда.

Пришла Беда. Настала, приключилась.
Не гостевать — сожительствовать ко мне.
К сети моих деяний подключилась,
засела в мысли, словно гвоздь в стене.

* * *

О, волосок! Я на тебе вишу.
Соломинка! Я за тебя хватаюсь.
И все-таки грешу, грешу, грешу,
грешить — грешу, а каяться — не каюсь.

Я по канату море перейду,
переплыву в лодчонке — океаны.
А если утону и упаду,
то обижаться на судьбу — не стану.

В тот договор, что заключен с судьбой,
включен параграф, чтоб не обижаться
и без претензий выслушать отбой,
уйти из слова,
с музыкой смешаться.

Но все-таки, покуда волосок
не порван
и пока еще соломинки
остался на воде хотя б кусок,
не признаю элементарной логики.
Не признаю!

ГОДОВАЯ СТРЕЛКА

1971

ГODOВАЯ СТРЕЛКА

На первый заработок, первую деньгу
купил часы. В отличие от счастливых,
с тех пор смотрю на них и не могу
взгляд оторвать
от стрелок торопливых.

Я точно знал, куда они спешат:
не к своему, а к моему финалу.
Звонит звоночек,
мельтешит фонарик,
напоминанье
не ведает пощад.

Я часовую стрелку полюбил.
В отличие от секундной и минутной,
она не знает этой спешки нудной.
Она умело сдерживает пыл.

Разбогатею и еще куплю
часы,
чтоб годовые стрелки были,
такие,
чтоб медлительно поплыли,
подобно солнцу или кораблю.

* * *

Как важно дерево в окне:
не дом, не столб, а ствол древесный
и синий дальний свод небесный —
пусть хоть клочком синеет мне.

Как хороша в окне звезда.
Пусть хоть одна звезда, большая —
и прочь уходят города,
ее пространствам не мешая.

Бывает, молния сверкнет,
перечеркнет квадрат оконный,
и гром, как взрыв мильонотонный,
войну и молодость вернет.

Бывает, смерть прильнет к стеклу,
закат окно окрасит красным.
Неописуемо прекрасно
и просто так —
глядеть во мглу.

* * *

Я был молод. Гипотезу бога
с хода я отвергал, с порога.

Далеко глаза мои видели.
Руки-ноги были сильны.
В мировой войне, в страшной гибели
не признал я своей вины.

Значит, молодость и здоровье —
это первое и второе.

Бог — убежище потерпевших,
не способных идти напролом,
бедных, сброшенных с поля, пешек.
Я себя ощущал королем.

Как я шествовал! Как я властвовал!
Бог же в этом ничуть не участвовал.

Идеалы теряя и волосы,
изумляюсь, что до сих пор
не услышал я божьего голоса,
не рубнул меня божий топор.

Видно, власть, что вселенной правила,
исключила меня из правила.

* * *

Человеческую жизнь (с деталями)
можно (в среднем) рассказать за два часа,
доверительно бросаясь тайнами,
убедительно меняя голоса.

За сто двадцать (с чем-нибудь) минуток
можно изложить, пересказать
стройных, ломаных, прямых и гнутых,
колыбель с могилой увязать.

Все-таки обидно: ели, пили,
жили, были — все за два часа.
Царства покоряли, окна били,
штурмовали небеса,
горы двигали и жгли леса —
все за два часа!

ВОЗРАСТ АВИАЦИИ

Излет говорят, где бы прежде сказали — закат.
Уже авиации лет пятьдесят-шестьдесят.
Уже излеталось пять-шесть поколений пилотов,
и мы наблюдали такую же цифру излетов.

Излет в авиации — пенсия и мундир,
и на небо смотришь сквозь мелкую сетку гардин,
и пишешь статейки в журнал «Авиация и космонавтика»
с таинственной подписью «Мнение практика».

Меня занимает излет нелетающих тел.
Столетия с доктринами я рассмотреть бы хотел.
Закаты миров, а не просто закаты светил —
все это бы я осветил, охватил.

Меня занимает, как старятся, как устают,
без боя большие губернии как отдают.
Сначала губернии. После же — все, кроме чести.
Чуть погода — все с честью и совестью вместе.

Я интересуюсь падением, но не звезды,
а, скажем, философа Сковороды.
Поскольку не падал сей добрый и смиренный философ,
я интересуюсь десятком подобных вопросов.

Я к возрасту авиации скоропостижно лечу.
Озлобиться я не хочу. Сдаться я не хочу.
Хочу излетаться, — не так, как эпохи. Как пули,
которых с пути никакие ветра не свернули.

Лететь до конца по почти что прямой кривой
и врыться в песок, без претензий, что я, мол, еще живой.

* * *

Я зайду к соседу, в ночь соседа,
в маету соседскую зайду,
в горести соседские — заеду,
в недобро соседа — забреду.

По-соседски спрашивать не стану.
Знаю все и так.
Посижу. Компанию составлю.
Проиграю в дураки пятак.

Надо все же иногда соваться
и в чужие, не свои дела.
Вижу: начал интересоваться,
прояснились линии чела.

Вышедший из сутолоки, сумятицы,
жизнью именуемой,
опять
осторожно, боязливо пятится,
поворачивает вспять.

СИЛУЭТ

На площади Маяковского
уже стоял Маяковский —
не бронзовый,
а фанерный,
еще силуэт,
не памятник.

Все памятники — символы.
Все монументы — фантомы.
Фанерные монументы
четырежды символичны.

Поставленный для прикидки
к городу и к миру,
он подлежал замене.
Ему отмерили веку
недели, а не столетья.

Но два измеренья фанеры,
дрожащие от ветра,
были странно прекрасны
в городе трех измерений.
Два измеренья фанеры
без третьего измеренья
обладали четвертым —
неоспоримым величьем.

Ночами его освещали
большими прожекторами,
и скульпторы меряли тени,
отброшенные монументом.

Массивность и бестелесность,
громадность и фантомность —

такое стоило крюку.
Я часто давал его ночью.

Быть может, впервые поэту
поставили то, что надо,
а кроме силуэта,
нам ничего не надо.
А кроме тени черной,
уложенной на асфальте,
не ставьте ничего нам,
нам ничего не ставьте.

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

Легкие легенды
и тяжелые,
словно танки,
факты.

Легкие легенды мотыльками
на броню действительности сели.

Легкие легенды потакают
тяжелоподъемным фактам.

Легкие легенды легким флером
обволакивают девяностоградусность,
прямизну углов
реальности.

Легкие легенды легкой пылью
заметают яркость красок жизни.

Но когда она рванется,
двинется, стронется с места,

первыми под гусеницы
попадают легкие легенды.

ВСЕ УСЛОВИЯ

Как свои почти два метра
сознают,
 копая окоп,
быстро пряча лицо от ветра,
пулеметного,
 ах, ему чтоб! —

как свои четыре с полтиной
пуда
 чувствуют на мостке,
на тончайшей, на паутинной,
через пропасть идущей доске —

свой избыток, как недостаток,
свою силу, как слабость свою,
я в эпоху ракет хвостатых
понимаю, осознаю.

Для того чтобы продержаться,
надо сжаться, надо вжаться
и на уровне нулевом
устоять на ветру пулевом.

Нивелируя взгляды, взлеты,
успокаивая сердца гуд,
пулеметы и самолеты
под нулевку бреют, стригут.

Несмотря и невзирая,
не учитывая
 рост и объем,

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЕННОЙ ИГРЕ

И это тоже было пережито:
белея, среди синей высоты,
неторопливо
раскрывались
парашюты,
как снятые в кино
(замедленно)
цветы.

Военная игра была игра.
Парашютисты все же разбивались,
и пехотинцы все же с ног сбивались,
играючи с утра и до утра.

Играючи с зари и до зари,
худели и щетиной зарастали,

но все-таки стратеги вырастали,
росли штабные, что ни говори.

Отыгрывалось, отрабатывалось
с заката и до раннего рассвета
все то, что позже минами рвалось
и карты
перекраивало
света.

Следили атташе нетерпеливо
за всем, что было связано с игрой,
и оседал, как город после взрыва,
медлительный
парашютистов
рой.

Ту давнюю военную игру,
рисковую тяжелую забаву,
на фронте вспоминали ввечеру
за водочкой положенной,
за банкой.

Шли аккуратные, как поезда,
снаряды
над землянкой в три наката,
и гильза полыхала вполнакала.

Усталые от ратного труда,
сначала потерявшие полмира,
потом отвоевавшие миры,
степенно вспоминали командиры
условия той давешней игры.

Шумела брань, и, выходя на рать,
припоминал с усмешкой полководец,
что это все уже пришлось играть,
и тут же говорил: «Не плюй в колодец».

Древнейшая история советского
периода!

Тридцатые года!

Глаза закроешь — горе не беда,
и парашюты, словно занавески,
неслышно падают на города.

Игра!

И жизнь, как утро, молода!

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Первый день войны. Судьба народа
выступает в виде первой сводки.
Личная моя судьба — повестка
очереди ждет в военкомате.
На вокзал идет за ротой рота.
Сокращается продажа водки.
Окончательно, и зло, и веско
громыхают формулы команды.

К вечеру ближайший ход событий
ясен для пророка и старухи,
в комнате своей, в засохшем быте
судорожно заламывающей руки:
пятеро сынов, а внуков восемь.
Ей, старухе, ясно. Нам — не очень.
Времени для осмысленья просим,
что-то неуверенно пророчим.

Ночь. В Москве учебная тревога,
и старуха призывает бога,
как зовут соседа на бандита:
яростно, немедленно, сердито.
Мы сидим в огромнейшем подвале
елисеевского магазина.
По тревоге нас сюда созвали.
С потолка свисает осетрина.

Пятеро сынов, а внуков восемь
получили в этот день повестки,
и старуха призывает бога,
убеждает бога зло и веско.

Вскоре объявляется: тревога —
ложная, готовности проверка,

и старуха, призывая бога,
возвращается в свою каморку.

Днем в военкомате побывали,
записались в добровольцы скопом.
Что-то кончилось.
У нас — на время.
У старухи — навсегда, навеки.

СБРАСЫВАЯ СИЛУ СТРАХА

Силу тяготения земли
первыми открыли пехотинцы —
поняли, нашли и наблюдали,
а Ньютон позднее подкатился.

Как он мог, оторванный от практики,
кабинетный деятель, понять
первое из требований тактики:
что солдата надобно поднять.

Что солдат, который страхом мается,
ужасом, как будто животом,
в землю всей душой своей вжимается,
должен всей душой забыть о том.

Должен эту силу, силу страха,
ту, что силы все его берет,
сбросить, словно грязную рубаху.

Встать.

Вскричать «ура».

Шагнуть вперед.

НАДО, ЗНАЧИТ, НАДО

Стокилометровый переход.
Батальон плывет как пароход
через снега талого глубины.
Не успели выдать нам сапог.
В валенках же до костей промок
батальон и до гемоглобина.

Мы вторые сутки на ходу.
День второй через свою беду
хлюпаем и в талый снег ступаем.
Велено одну дыру заткнуть.
Как заткнем — позволят отдохнуть.
Мы вторые сутки наступаем.

Хлюпает однообразный хлюп.
То и дело кто-нибудь как труп
падает в снега и встать не хочет.
И немедля Выставкин над ним,
выдохшимся,
над еще одним
вымотавшимся
яростно хлопочет.

— Встань! (Молчание.) — Вставай!
(Молчок.)
— Ведь застынешь! (И—прикладом в бок.)
— Встань! (Опять прикладом.) Сучье
семя! —

И потом простуженный ответ:
— Силы нет!
— Мочи нет.
— Встань!
— Отстань! —
Нет, встал. Побрел со всеми.

Я все аргументы исчерпал.
Я обезголосел, ночь не спал.
Я б не смог при помощи приклада.
Выставкин, сердитый старшина,
лучше понимает, что война —
это значит: надо, значит, надо.

СЛАВА САПЕРОВ

«Разминировал». Подпись. Число.
Надпись мелом в гранит переводят
и саперных частей ремесло
навсегда в историю вводят.

Мел в новейшее время сумел
не осыпаться. Закрепиться.
Не найти в целом мире тряпицы,
чтоб стереть, истребить этот мел!

И сапер, специальность свою
клявший в четырехлетнем бою,
на болота, на зной, на потемки
смотрит вдруг глазами потомка.

ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ ДИВИЗИИ

Дивизия на сто восемьдесят
градусов поворачивается.
Меняются местами
ее тылы и фронты.
Земля и та с меньшим скрипом,
наверное, оборачивается,
катаясь по бесконечности
среди родной пустоты.

Меняются огневые
позиции — все до одной.
Копаются километры
окопов полного профиля.
Тылы поворачиваются
фронтальной стороной,
живут в пулеметных точках,
что пулеметчики бросили.

Поворот дивизии
похож на переворот
в средних размеров державе.
Водки и провизии
нужно невпроворот,
чтоб его поддержали.
Плечи нужны,
чтоб тела пулеметов носить.
Речи нужны,
чтоб тяготы лучше сносить.

Сердечники маршируют,
хватаются за сердца.
Над ними скворцы озоруют,
мотаются без конца.
Все, у кого имеются,

смотрят на часы:
на поворот положены
считанные часы.

К семи ноль-ноль утра,
за шестьдесят минут до срока,
командир дивизии
докладывает в корпус
Первому:
«Алексей Сергееч!
Повернулись.
Пускай теперь лезут.
У меня все».

СУДЬБА ДЕТСКИХ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

Если срываются с ниток шары,
то ли
от дикой июльской жары,
то ли
от качества ниток плохого,
то ли
от
вдаль устремленья лихого, —
все они в тучах не пропадут,
даже когда в облаках пропадают,
лопнуть — не лопнут,
не вовсе растают.
Все они
к летчикам мертвым придут.

Летчикам наших воздушных флотов,
испепеленным,
сожженным,
спаленным,
детские шарики вместо цветов.

Там, в небесах, собирается пленум,
форум,
симпозиум
разных цветов.
Разных раскрасок и разных сортов.

Там получают летнабы шары,
и бортрадисты,
и бортмеханики:
все, кто разбился,
все, кто без паники
переселился в иные миры.

Все получают по детскому шару,
с ниткой
оборванною
при нем:
все, кто не вышел тогда из пожара,
все, кто ушел,
полая огнем.

ВОЕННЫЙ УЮТ

На войну билеты не берут,
на войне романы не читают,
на войне болезни не считают,
но уют возможный создают.

Печка в блиндаже, сковорода,
сто законных грамм,
кусочек колбаски,
анекдоты, байки и побаски.
Горе — не беда!

— Кто нам запретит роскошно жить? —
говорит комвзвода,
вычерпавший воду
из сырого блиндажа. —
Жизнь, по сути дела, хороша!

— Кто мешает нам роскошно жить? —
Он плеснул бензину в печку-бочку,
спичку вытащил из коробочка,
хочет самокрутку раскурить.

Если доживет — после войны
кем он станет?
Что его обяжут и заставят
делать?
А куда — хоть бы хны.

А пока за целый километр
Западного фронта
держит он немедленный ответ
перед Родиной и командиром роты.

А пока за тридцать человек
спросит, если что, и мир и век
не с кого-нибудь, с комвзвода,
только что повыплеснувшего воду
из сырого блиндажа.

Жизнь, по сути дела, хороша.
Двадцать два ему, из них на фронте—два,
два, похожих на два века года,
дорога и далека Москва,
в повзрослевшем только что,
едва,
сердце — полная свобода.

РОВНО НЕДЕЛЯ ДО ПОБЕДЫ

А что такое полная свобода?
Не тайная, а явная?
Когда
отбита беда?
Забыта забота?

Я не спешу. Как царственно я медлю!
Какую джип даст по асфальту петлю
у замка на ладони, на виду!
Проеду — головой не поведу.

А изо всех бойниц наведены
эсэсовские пулеметы.
Но месяц май,
и до конца войны
неделя!
И я полной полн свободы.

Шофера не гоню, не тороплю
и ускорения не потерплю.
— Не торопитесь, — говорю шоферу. —
Не выстрелят!
Теперь им не посметь! —
Я говорю и чувствую, как смерть
отпрянула. Воротится не скоро.

Блестит солнце на альпийских видах,
и месяц май.
В Берлине Гитлер сдох.
Я делаю свободы полный вдох.
Еще не скоро делать полный выдох.

«ЕСТЬ!»

Я не раз, и не два, и не двадцать
слышал, как посылают на смерть,
слышал, как на приказ собираться
отвечают коротеньким «Есть!».

«Есть!» в ушах односложно звучало,
долгим эхом звучало в ушах,
подводило черту и кончало:
человек делал шаг.

Но ни разу про Долг и про Веру,
про Отечество, Совесть и Честь
ни солдаты и ни офицеры
не добавили к этому «Есть!».

С неболтливым сознанием долга,
молча помня Отчизну свою,
жили славно, счастливо и долго
или вмиг погибали в бою.

ВЫБОР

Выбираешь, за кем на край света,
чья верней, справедливей стезя,
не затем, что не знаешь ответа,
а затем, что иначе нельзя.

Выбираешь, не требуя выгод,
не желая удобств или льгот,
словно ищешь единственный выход,
как находишь единственный вход.

Выбираешь, а выбор задолго
сделан, так же и найден ответ —
смутной, темной потребностью долга,
ясной, как ежедневный рассвет.

С той поры, как согрела планету
совесть
и осветила мораль,
никакого выбора нету.
Выбирающий не выбирал.

Он прислушивался и — решался,
долей именовал и судьбой.
Сам собой этот выбор свершался.
Слышишь, как?
Только так.
Сам собой.

СТАРИК

Он дышал тяжело от шубы
на ватине

в кулак толщиной.

Не слова, а грузные шумы
заработали надо мной.

Задышался, отдувался,
ласкам памяти предавался.

То ли юность свою, то ли зрелость
обнимал, целовал
и подробный отчет давал,
как ему писалось и пелось.

Батенька, говорил, голубок.
Был не то что широк — глубок.

Позабыл наши первые встречи,
говорил те же самые речи,
дал мне тот же самый концерт.

Как молоденький офицер,
что нет-нет взгляд на орден бросит
и шинель соответственно носит,
он распахивал передо мной
в самом деле большие удачи
и еще перед первой войной
разрешенные им задачи.

— Это слыхивал я от Стасова!
Но как будто из века Тассова,
в Ариостовой стороне
были Стасов и все с ним иже.
Нет, Бояновы дали — ближе
этой стасовской близи — мне!

ЧАЕВЫЕ

Получаю всю жизнь зарплату,
заработанное, зажитое.
Чаевых же не брал ни разу.

Если заработаю больше,
за работу больше заплатят.
Ни к чему мне чаевые.

Научился и чай и сахар
на свои покупать, на кровные
и без чаевых обходиться.

А когда не умел заработать
ни на чай, ни на сахар,
я без чаю сидел и без сахару,
но не брал чаевые.

БРЕМЯ ЛЮДЕЙ

Задачники без решебников
подготавливают волшебников.

Работа непосильная —
для самых лучших и честных,
а прочие — марш в посыльные,
в помощники, в порученцы!

О, бремя! Не только белых,
но также желтых и черных!
О, бремя самых смелых!
О, бремя самых упорных!

О, бремя любого народа
и всего людского рода!

Подставляем плечи,
взваливаем мешки.
А кто желает полегче —
марш в дураки, в остряки!

* * *

Какие споры в эту зиму шли
во всех углах и закутах земли!

Что говорили, выпив на троих
и поправляя походя треух,
за столиками дорогих пивных
и попросту — за стойками пивнух!

Собрания гудели, как мотор
летательного
сверхаппарата,
и мысли выходили на простор
для стычки, сшибки, а не для парада.

На старенькой оси скрипя, сопя,
земля обдумывала самое себя.

* * *

Руки опускаются по швам.
После просто руки опускаются
и начальство во всю прыть пускается
выдавать положенное нам.

Не было особенного проку
ни со страху, ни с упреку.
А со штрафа было меньше толку,
чем, к примеру, с осознания долга,
чем, к примеру, с личного примера
и с наглядного показа.
Смелости и подражают смело,
и таким приказам нет отказа.

Ордена, которые нам дали,
траты на металлы оправдали.
Выговоры, те, что нам вlepили,
забавляли или озлобили.

Не шуми, начальник, не ори.
Толку нет от ругани и ражу.
По-хорошему поговори.
Я тебя уважу.

* * *

Хорошо ушел. Не оглянулся.
Даже головы не повернул.
Нет, не посмотрел, не обернулся,
словно молния сверкнул.

Сто часов теорию отхода
слушает в училищах пехота.
Ну, а как отчаливать простым
людям, в пиджаках, не в гимнастерках,
так, чтоб след действительно простыл,
но, чтобы, немея от восторга,
помнили!
Он — знал. Он — понимал.
Шапки не снимал.
Не махал рукой, не улыбался.
Ни минуточки не колебался.
Просто: повернулся и ушел.

ТЕРПЕНЬЕ

Привычка привыкать,
терпеть терпенье,
терпеть, как за стеной
соседа терпим пенье,
терпеть, как терпим чад,
столовский запах тошный.

Стерпеть, смолчать,
конечно, можно.
Когда это войдет
в твои глубины
и в кровь твою войдет
вплоть до гемоглобина
и закипать душа
в ответ не станет,
привычка не спеша
натурой станет.

* * *

День был душный, а тон был пошлый.
Нехороший был разговор.
Мне-то что? Я не здешний, а пришлый,
повернулся и вышел вон.
И какая-то полная смысла,
отшлифованная во рту,
брань рванулась за мной и повисла,
и повисла на вороту.
Подобрал ее, обдунул,
на ладони ее обсмотрел.
Одобрял, отрицал, обдумал
этот свой неточный портрет.
Словно в воду чего-то подли́ли,
каплю-капельку подлинки.
Словно плечи согнули мне.
Вспоминаю об этом дне.

* * *

Говорить по имени, по отчеству
вам со мной, по-видимому, не хочется.
Хорошо. Зовите «гражданин».
Это разве мало? Это много.
Гражданин!
В понимании Рылеева,
а не управдома.
Я ль буду в роковое время
позорить гражданина сан и чин?
Хорошо. Зовите «гражданин».

ПРОРОКИ И ПРОГНОЗИСТЫ

Пророк — про Рок, меж тем как прогнозист —
про испещренный формулами лист,
но с вервием на шее те и эти
живут (пока живут) на белом свете.

Пророк — на славе. Прогнозист — на ставке.
Пророки — лава. Прогнозисты — танки.
Но оба задевают за живое
и отвечают только головою.

Пророки — в устарелых власяницах.
У прогнозистов — рукава лоснятся,
но сны им одинаковые снятся,
конец, финал — один и тот же мнится.

В отчете для инстанций директивных
вдруг ямбы просыпаются хромые,
и прогнозист времен радиоактивных
подписывается так: Иеремия.

* * *

Снова заскрипела ось земная.
Заскрипела, после — затряслась.
Почему — пока еще не знаю.
Я еще наузнаваюсь всласть.

Раз земля трясется под ногами,
значит, есть причины у земли.
Семь причин как будто у нагана
в барабан причинности вошли.

Снова чашки звякают о блюда,
снова зуб на зуб не попадет.
А причины что? Они найдутся.
Та или другая — подойдет.

* * *

Эта женщина молода. Просто она постарела.
Эта женщина хороша. Только выглядит плохо.
Этой женщине тридцать лет. То есть тридцать до
старости.

Все еще впереди. Нет почти ничего позади.
Воспоминания, изнемогающие от усталости,
не увяжутся с ней. Им, наверное, не по пути.

Ей путевку достать, нос припудрить и губы подмазать,
за ночь выспаться, утром на правую ногу встать —
и Ромео опять на балкон ее примется лазать,
и звезда ее снова возьмется блистать.

Сбилась с шагу какой-то невидимой роты красавиц,
но она поднажмет или сообразит,
снова в ногу пойдет, земли почти не касаясь,
потрясет, изумит, поразит.

Три попытки — как в спорте — и ей полагаются.
Остается еще одна.
Здравствуй, умница!
Будь же счастливой, красавица!
Все наладится.
Пей до дна.

НЕИНТЕРЕСНО

Вдова, вернувшись с похорон,
все говорит: — Неинтересно! —
Она обдумывает трезво,
что ждет ее, — со всех сторон —
и говорит: — Неинтересно!

С какою важностью вдова
припоминает вдруг слова,
ей сложенные,
после вложенные,
заложённые в строфы тесно,
и говорит: — Неинтересно.

Со странной важностью, без зла,
она считает: жизнь дошла
до точки, до конца, дотла —
и говорит: — Неинтересно!

О, как ей было интересно!
Теперь ей все неинтересно.
Неинтересно, неинтересно!
Она жила и отжила.

ПОЛОСА НЕУДАЧ

Начинается полоса неудач.
Мелких? Как вам сказать?! Не слишком.
Привыкаешь к невеселым мыслишкам,
характерным для полосы неудач.

Все везло, а вывезло не туда.
Получалось, а не получилось.
Горе что? Не беда? Оказалось — беда.
Так уж выпало, вышло, случилось.

Полоса неудач как лесополоса
или хор, где одна за другою
неудачи пробуют голоса,
ни на миг не дают покою.

Полоса неудач, как газетная
полоса сорок первого года:
на плохие вести усердная,
а хорошим вестям — нет ходу.

Полоса неудач как дождь — обложной,
затяжной, на всю ночь и дольше.
Он то хлещет, то плещет, то льет надо мной,
затяжной, бесконечный дождик.

Набираюсь терпенья на всю полосу —
я с запасом его набираю,
положу поудобнее крест и несую,
плечи — все до крови стираю.

Даже если плечи протру до костей,
все равно до хороших дойду новостей.

Потому что в XX веке судьба
словно столб в XIX веке —
полосата. И вот я дошел до столба.
Вот удача родимая! Вот ее вежи.

ЕЛКА

Гимназической подруги
мамы

 стаяка дочерей
светятся в декабрьской вьюге,
словно блики фонарей.
Словно елочные свечи
тонкие сияют плечи.

Затянувшуюся осень
только что зима смела.
Сколько лет нам? Девять? Восемь?
Елка первая светла.
Я задумчив, грустен, тих:
в нашей школе нет таких.

Как зовут их? Вика? Ника?
Как их радостно зовут!
— Мальчик, — говорят, — взгляни-ка!
— Мальчик, — говорят, — зовут! —
Я сгораю от румянца.
Что мне, плакать ли, смеяться?

— Шура — это твой? Большой.
Вспомнила, конечно. Боба. —
Я стою с пустой душой.
Душу выедает злоба.
Боба! Имечко! Позор!
Как терпел я до сих пор!

Миг спустя и я забыт.
Я забыт спустя мгновенье,
хоть меня еще знобит,
сводит от прикосновенья
тонких, легких детских рук,
ввысь!

 подбрасывающих вдруг.

Я лечу, лечу, лечу,
не желаю опуститься,
я подарка не хочу,
я не требую гостинца,
только длились бы всегда
эти радость и беда.

БЕЗ МЕНЯ

«Ohne mich!»

«Без меня!»

Этот лозунг немецких пленных
сорок пятого года
вспоминается к юбилею все чаще.

— Почему ты сдался? —

В январе, в феврале,

в марте, в апреле

и особенно в мае,

в начале мая

генералы, полковники, капитаны

и особенно воины в чине солдата

отвечают, щелкая каблуками,

вытягиваясь в струнку,

с философской, бессмысленной улыбкой:

«Ohne mich!» —

«Без меня!»

Пускай без меня воюют!

Еще поезд идет по накатанным рельсам.

Еще кофе и шнапс вестовые разносят.

Еще старшие младших свирепо разносят.

Еще писарь потери по графам разносит.

Еще разнесет этот поезд не скоро.

Еще полгода до катастрофы.

А мальчишка в штаб-офицерском чине,

седоголовый, орденосный,

израненный, многосемейный,

раскачался, спрыгнул с подножки

и умиленно, испугленно

умоляет польскую бабу,

чтоб отвела его до плена.

Лучше всего до большого штаба.

Столько лет он жил заодно со всеми!
Нынче — сам по себе желает.
И надежды слабое семя
пробивается в нем, прорастает.
Если захочет польская баба —
отведет до большого штаба.
Его торопливо в список впишут,
часы с него снимут, сапоги оставят,
а немецкий писарь — в потери впишет,
и больше никто вспоминать не станет.

«Ohne mich». Без меня. Без него отчизна,
фатерлянд немецкий, будет горе мыкать,
а ему старшина в лагерях отдаленных
будет долго тыкать, а после выкать.

Без него его дети окончат школу.
Без него жена поблекнет, засохнет,
потому что он вернется не скоро:
когда рак свистнет, когда рыба топнет.

Без него разберут на кирпич руины,
сложат дома, заживут красиво,
покуда он города Украины
восстанавливает неторопливо.

Потом, ссылаясь на вдовий траур,
сирот вставляя в речь для примера,
зловещий тощий Аденауэр
отпросит у нашего премьера
его, постаревшего лет на десять,
его, поумневшего раза в четыре.

История привыкла чудесить
с людьми
в этом самом, самом мире.

В лагере, где-нибудь на Каме,
он щелкнет в последний раз каблуками,
и ведомость сдаточную заполнит,
и целый эшелон заполнит.

И родина, дымкой сентиментальной
за давностью лет покрытая прочно,
примет его после всех метаний
и дело ему подыщет срочно.

ПОЛЬЗА ПРИВЫЧЕК

Привычки необходимы —
домашняя мебель чувств,
домашние туфли страстей,
разношенные, незамечаемые.
По рельсам этих привычек
веселым трамваем мчусь —
вперед по привычным рельсам
в привычное незнаемое.

Привычка как электричка —
по расписанию ходит.
Привычка словно спичка —
зажжется почти всегда.
В этой привычке к привычке
спасение находят,
поскольку привычное горе
уже почти не беда.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Татьяне Дашковской

Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспрозванные, Непрошенные и Случайные.

Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые ночки,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.

Выходят на сцену не те, кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.

Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: живи!
В сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок
четвертом.

Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жёсток и краток отрывистый разговор.

АВТОМАТ

Покатился гривенник по желобу,
по тому, откуда не сойти,
предопределенному, тяжелому
пути.

Он винты какие-то задел
и упал в подставленную сетку,
вытолкнув — таков его удел —
газетку.

Прочитав ее, по своему
желобу я покатился вяло
и не удивлялся ничему
нимало.

* * *

Нет, не телефонный — колокольный
звон
сопровождал меня
в многосуточной отлучке самовольной
из обычной злобы дня.

Был я ловким, молодым и сильным.
Шел я — только напролом.
Ангельским, а не автомобильным
сшибло, видимо, меня крылом.

СОЛИДНО!

— Солидно! — шептали губы белеющие. —
Лежу на койке и в чистом белье еще.
Две свежих простыни выдали мне,
и мишки в сосновом лесу на стене.

— Солидно! — все тише шептали губы. —
В таких больницах имеются клубы,
а в них, наверное, крутят кино,
а я в нем не был так давно.

С каким удовольствием он умирал:
удовлетворенный, обеспеченный.
Руками легко с себя обирал
прикосновенья смерти беспечной.

Улыбка, исполненная торжества!
О том же свидетельствовали слова,
произносимые с затруднением:
— Солидно! Ценно! — И с этим мнением
не согласиться было стыдно.
Действительно: ценно, солидно.

Про черный день стоит беречь
не место, на кладбище приобретенное,
а эту отрывистую речь,
монотонную, веретённую.

И чтобы в самом деле кровать
со свежим бельем, что пуха легче,
и чтобы врач помог отрывать
смерть, вцепившуюся в плечи.

ДВА ГОДА В БОЛЬНИЦАХ

Прохладные стены старинных больниц
настолько похожи на крепостные,
что ты удивлен, не нашедши бойниц,
которые обороняют больные.

Высокие взрывы старинных деревьев —
тенистых, как тинистых — густо-зеленых.
Операционных неистовый рев
и треп посетителей оживленных.

Там вмешивались то огнем, то ножом
в дела мои, там помогали натуре,
там газом каким-то меня поднадули,
там был забинтован я и обнажен.

Из корпуса в корпус переходя,
из здания в здание переезжая,
я жил,
долгим взглядом ту смерть провожая,
что шла стороной, наподобье дождя.

Обеда я ждал с нетерпением там
и шел по местам, когда крик «По местам!»
обход возвещал.
А после в минуту обед поглощал.

С большим напряженьем сосудов и жил
два года в старинных больницах я жил —
тогда еще новых не начали строить —
и выжил,
и вышел,
и стал планы строить:

КОЛОКОЛА

Колокола звонили про дела:
дела — плохи, дела—плохи, дела—плохи—
унылые колокола
конца эпохи.

Понятней, чем на русском языке,
на медном языке обедни
они все громозвучней, все победней
раззванивали о беде, тоске.

Они предупредили старый мир
и точно вызвонили час и миг,
но старый мир не вслушался в сигналы,
внимания не обратил,
и вот его шугнули и согнали
с престолов
и изгнали из квартир.

Тот перезвон навек в ушах остался,
и, встретившись в Париже, на ходу,
кричат друг другу эмигранты-старцы:
колокола звонили про беду.

НИ К ЧЕМУ!

Все слова, что связаны с конями, —
марш на лингвистический махан!
А какие звуки там гоняли!
Целину какую плуг пахал!

Сколько было вложено людского
и в тяжелозвонкое: подкова,
и в быстропоспешное: бега!

Как была мила и дорога
и лексикографу и жокею
масть любая!
Много лет
ветерок забвенья, тихо вея,
заметает конский след.

Напоролась на колючку конница
в 914 году —
больше за пехотою не гонится,
саблями рубая на ходу.
Обогнали трактора конягу
в 930 навсегда
и обезлошадили — беда! —
Русь,
во зло, не знаю ли, во благо?
Как ушли с полей —
из словарей
медленно, но верно отступают
и в речушке Лете утопают
те, кто Волгу, Дон и Енисей
переплыли и не утонули,
отряхнулись, двинулись во тьму.
Не догнали пули,
а догнало слово: «Ни к чему!»

«Ни к чему!»
Кого обозначать
термином гнедой, буланый, пегий?
Вечность знать не знает привилегий.
Прав у времени нельзя качать.

«Ни к чему!»
И замирает топот
бьющих по забвению копыт.
Зверя с человеком
первый опыт
дружбы и союза —
позабыт.

ИСПАНЦЫ В ИЗГНАНИИ

По мартовскому гололеду,
топча пропесоченный лед,
сторожко, готовый к полету,
угрюмый испанец идет.

Проходит неслышною тенью
давнишних тридцатых годов
сторожко, готовый к паденью
на желтые льды городов.

Он, словно бы к солнцу подсолнух,
к Испании весь обращен.
О ней вспоминает спросонок
и с ней же свергается в сон.

Болезненно бледная смуглость
никак не сползает со щек.
Горючая, жалкая мудрость
в глазах не потухла еще.

Он ловит, как будто антенна,
незначащее ничего.
Простуда, наверно, ангина,
лет тридцать как мучит его.

Любые заметки в вечерке,
пустые намеки судеб
вонзились в него, как осколки,
важнейшие центры задев.

* * *

Брата похоронила, мужа,
двух сыновей на погост сволокла.
В общем, к чему же, к чему же
и для чего же слова и дела.
Ясная в дереве, камне, моторе,
людям

инерция

ни для чего?

Разве не преимущество горе?

Только люди достойны его.

Все же встает в семь утра ежедневно,
на уплотненный автобус спешит,
вяло и злобно, тупо и нервно
в загсе бумажки свои ворошит,
в загсе бумажки свои подшивает,
переворачивает,
семьи чужие сшивает,
жизнь понемногу донашивает.

ВЕЧЕР ЗАБЫТЫХ ПОЭТОВ

Забытых поэтов забыли.
Забыли о том, как запели.
Забыли, как после забили
в какие-то темные щели
их слабую славу. Их строки.
Неловкие юные книги.

Но вот исполняются сроки.
Но вот начинаются сдвиги.
Но вот открываются срезы
какой-то не вышедшей в свет
поэзии.
Но интереса
особого, видимо, нет.

Митрейкин, полвека хранимый
в ругательстве гения, — выжил.
Несчастный, легчайше ранимый,
он словно встряхнулся и вышел
не то чтоб на авансцену
(он скромн и знал себе цену),
а просто на сцену и внятно,
негромко, но все же заметно,
спокойно, но все же сурово
сказал свое слово.

Как будто бы крутят обратно
какую-то дельную ленту!

Стоит Москвошвеем одетый,
вскормленный нещедрым Литфондом
Митрейкин далекий, забытый,
забытый, далекий Митрейкин,
и просит:
— Прочтите меня!

ПЕРЕПОХОРОНЫ ХЛЕБНИКОВА

Перепохороны Хлебникова:
стынь, ледынь и холодынь.
Кроме нас, немногих, нет никого.
Холодынь, ледынь и стынь.

С головами непокрытыми
мы склонились над разрытыми
двумя метрами земли:
мы для этого пришли.

Бывший гений, бывший леший,
бывший демон, бывший бог,
Хлебников, давно истлевший:
праха малый колобок.

Вырыли из Новгородщины,
привезли зарыть в Москву.
Перепохороны проще,
чем во сне, здесь, наяву.

Кучка малая людей
знобко жметя к праха кучке,
а январь знобит, злодей:
отмораживает ручки.

Здесь немногие читатели
всех его немногих книг,
трогательные почитатели,
разобравшиеся в них.

Прежде чем его зарыть,
будем речи говорить
и, покуда не зароем,
непокрытых не покроем

* * *

До чего же женщины живучи!
На пятидесятилетнем юбилее
блоковской кончины
плачут старые, как тучи,
сединай белея,
женщины, а не мужчины.

Все его товарищи в могиле,
умерли, до одного погибли,
вслед за ним сыграли роли вскоре.
Женщины, которых обнимал он,
женщины, которых понимал он,
продолжают плакать в общем хоре.

Что же означает это?
Может быть, любовь поэта
времени прибавила им столько?
Я не знаю, что же это значит.
Вижу: бедные старухи плачут,
сверстника оплакивая горько.

ПОЭТ

Очень сбивчив.
Очень забывчив.
Некрасивую голову сбывчив,
обижается и смолкает
и, как черный сухарь, намокает
чаем дум своих невеселых.

Тих, задумчив, печален, грустен,
в дружбе — вял,
в общении — труден.
Каждый звук с каким-то хрустом
у него вылетает из глотки.

Что-то копит он и лелеет.
Искра в нем какая-то тлеет.
Накаляется он и злеет.
Скоро скажет.
Скоро скажет то самое слово,
что в пылу вдохновенья злого
собирал по буквам.

Для того на всем экономил,
чтобы выйти со словом новым.
Вот свинтил его или вырастил —
что-то им осветил и выразил.
Он теперь подобрает.

* * *

Которые историю творят,
они потом об этом не читают
и подвигом особым не считают,
а просто иногда поговорят.

Которые историю творят,
лишь изредка заглядывают в книги
про времена, про тернии, про сдвиги,
а просто иногда поговорят.

История, как речка через сеть,
прошла сквозь них. А что застряло?
Шрамы.
Свинца немногочисленные граммы.
Рубцы инфарктов и морщинок сечь.

История калится, словно в тигле,
и важно слушает пивной притихший зал:
«Я был. Я видел. (Редко: «Я сказал».)
Мы это совершили. Мы достигли».

ЧУЖОЙ ДОМ

Я в комнате, поросшей бытием
чужим,
чужой судьбиной пропыленной,
чужим огнем навечно опаленной.
Что мне осталось?
Лишь ее объем.

Мне остаются пол и потолок,
но пол не я в смятении толлок,
и потолок не на меня снижался,
не оставляя
ни надежд,
ни шансов.

Ландшафт, который ломится в окно,
не мной засмотрен
и не мной описан.
В жилой квадрат я до сих пор не вписан,
хотя живу шесть месяцев. Давно.

Когда уеду, здесь натрут полы,
сотрут следы кратчайшего постоя
и памятью крепчайшего настоя
немедля брызнут стены и углы.

И дух его, вернувшийся домой,
немедленно задушит запах мой.

* * *

Старость — равнодушие. Постепенно
не касаются, не задевают,
попросту не интересуют
те дела и люди,
города и годы,
что когда-то интересовали.

Старость не сравнить с поездкой.
Думаешь, но не о том, откуда
и, конечно, не о том, куда
доедешь,
а о том,
как едешь.

О купе в вагоне полужестком,
или жестком,
или, окончательно, жестоком,
о спитом вагонном чае.

Едешь, на вопросы отвечая,
но не задавая,
и душа твоя полуживая,
постепенно остывая
к прежде волновавшим интересам,
в охлаждении своем жестоком
не интересуется итогом
и не забавляется процессом,
а дрожит, как провода под током,
под вагонных обстоятельств прессом.

ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ветер пролетающих поездов.
Звоны провисающих проводов.
Поезда летят.
Провода гудят.
Все как тридцать лет назад.

Видно, линии железных дорог
потревожить не собрался рок.
Поезда летят.
Провода гудят.
Это век сохранил, уберег.

Видимо, они еще нужны
для пейзажа и для всей страны.
Поезда летят.
Провода гудят.
Словно бы задолго до войны.

Почему-то стальное полотно
с юностью сопряжено.
Провода гудят — обо мне.
Поезда летят — все ко мне,
как гудели и летели так давно!

* * *

Уже хулили с оговоркой,
уже хвалили во все горло,
но старость с тщательностью горькой
безоговорочно приперла.

Она суммарные оценки
с понятным ужасом отводит,
она нас припирает к стенке,
но разговоров — не разводит.

Она молчит. Стыдится, верно,
поднять глаза на нас, и все же
с ужасностью обыкновенной
она идет, как дрожь по коже.

* * *

В утиль меня сдали. Копейки по две
за килограмм. На полтора
рубля. Как сдали, сложили подле
всего утиля в глубине двора.

По две копейки, словно кости,
словно иконы — за килограмм.
А я ведь ходил когда-то в гости.
А я ведь любил когда-то сто грамм.

Ну что ж: я подвержен тому же закону,
которому — кости, а также иконы,
на что-нибудь, как и они, пригожусь
и этим, если скажут, горжусь.

И я не желаю качать права,
поскольку попал туда, куда хочется:
из малого круговорота — общества
в огромный круговорот — естества.

* * *

Отбиваться лучше в одиночку:
стану я к стене спиной,
погляжу, что сделают со мной,
справятся или не справятся?

Чувство локтя — это хорошо.
Чувство каменной стены, кирпичной —
это вам не хорошо — отлично.
А отличное — лучше хорошего.

Будут с гиком, с криком бить меня,
я же буду отбиваться — молча,
скаля желтые клыки по-волчьи,
сплевывая их по-людски.

Выпустят излишек крови — пусть.
Разобьют скулу и нос расквасят.
Пусть толкут, колотят и дубасят —
я свое возьму.

Хорошо загинуть без долгов,
без невыполненных обещаний
и без слишком затяжных прощаний
по-людски, по-человечески.

* * *

От отчаяния к надежде
я перехожу, но не прежде,
чем надежно удостоверюсь,
что надежда тоже ересь,
звук пустой, залп холостой —
пустоты в пустоте отстой.

Слишком много чувствуем.
Слишком
предаемся тоскливым мыслишкам,
пьем их мед, принимаем яд,
между тем как дела стоят.

А дела стоят, как столбы,
вкопанные посреди судьбы.
А дела стоят, как надолбы,
брошенные без всякой надобы.

А дела стоят, как опоры
недостроенного моста,
по которому очень не скоро,
никогда не пойдут поезда.

* * *

Учтя подручный матерьял,
свой неглубокий опыт,
систем я создавать не стал,
а стал глазами хлопать.

Не стал я на манер газет
всему давать оценки,
стал безответственно глазеть
то случаи, то сценки.

Не стал я создавать систем,
пишу лишь то, что вижу,
и с чем я был, остался с тем,
не поднялся я выше,

* * *

Мои друзья не верили в меня.
Мне — верили. В меня — нисколько,
Не находили внешнего огня,
восторга, обаяния, наскока.

Я ничего у них не взял вперед,
я взял свое, как лампа ток берет, —
с немедленной и точною расплатой
по счетчику, а я за ним следил,
чтоб и рублевки не недоплатил
с любой затее, точной и крылатой.

С меня хватало и того, что вдруг
моей строкою сердце задевало,
и радовался искренне, бывало,
нечаянно, но от души мой друг.

А я молчал и не напоминал,
какие мне советовались службы
во имя логики, во имя дружбы.
Меня вполне устраивал финал.

* * *

Прорывая ткань покрова
ритма, рифмы, мастерства,
вдруг просвечивает Слово
через темные слова.

Рыба прорывает сети,
прорываясь до реки,
потому что рифмы эти,
как и ритмы, — пустяки.

Потому что это вам
не игра в бирюльки:
жизнь свою отдать словам,
выдать на поруки.

СДЕРЖИВАНИЕ НЕДОВОЛЬСТВА

Сдерживаю недовольно
сдержанное недовольство,
чтобы вдоволь задержалось
и не выдало себя.
Но испытываю жалость
и жалею сам себя.

От поносного концерта
день-деньской в ушах знобит,
и проценты на проценты
нарастают у обид,
неотмщенных оскорблений,
запоздалых сожалений,
брошенных через плечо
тихих криков

и еще

взоров,
полных яркой злобы,
перехваченных в упор,
потому что смотрят в оба
с давних пор и до сих пор.

Я терпел, терпел, терпел.
Я под вашу дудку пел.
Но терпенье изнашивалось,
прохудилось, как сукно.
Я его пустил на силос,
сдал в утиль давным-давно.

Не пою под вашу дудку,
не пою и не пляшу.
Превращаю пытку в шутку
и веселый стих пишу.

ЧЕРНАЯ ИКРА

Ложные классики
ложками поутру
жрут подлинную, неподдельную, истинную икру,
но почему-то торопятся,
словно за ними гонится
подлинная, неподдельная, истинная конница.

В сущности, времени хватит, чтобы не торопясь
съесть, переварить и снова проголодаться
и зажевать по две порции той же икры опять —
если не верить слухам и панике не поддаться.

Но только ложноклассики верят в ложноклассицизм,
верят, что наказуется каждое преступление,
и все энергичнее, и все исступленнее
ковыряют ложками кушанье блюдечек из.

В сущности, времени хватит детям их детей,
а икры достанет и поварам и слугам,
и только ложные классики
робко и без затей
верят,
что будет воздано каждому по заслугам.

«— Не!»

Арионы высушат на солнышке
мокрые и драные отрепья.
Арионы посидят на пенушке,
оглядят великолепье
мира, после бури в самом деле
мирного, и света светлого.
— Высушили? Ну, теперь надели!
Бури, урагана, ветра
хочется попробовать вам снова
в нашей или дальней стороне? —
Арионы, сжавшись от озноба,
отвечают: — Не!

ПРИЧИНЫ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Вот за что люблю анкеты: за прямую
постановку некривых вопросов.
За почти научное сведение
долгой жизни к кратким формулам.
За уверенность, что человека
можно разложить по полкам
и что полочек требуется десять,
чтобы выдавали книги на дом,
или сорок, чтобы отпустили
в капстрану на две недели.

Равенство перед анкетой,
перед рыбьими глазами
всех ее вопросов —
все же равенство.
А я — за равенство.
Отвечать на все вопросы
точно, полно,
знаешь ли, не знаешь, — отвечать,
что-то в этом есть
от равенства и братства.
Чуть было не вымолвил:
свободы.

* * *

Дома-то высокие! Потолки —
низкие.
Глядеть красиво, а проживать
скучно
в таких одинаковых, как пятаки,
комнатах,
как будто резинку всю жизнь жевать,
Господи!

Когда-то я ночевал во дворце.
Холодно
в огромной, похожей на тронный зал
комнате,
зато потолок, как будто в конце
космоса.
Он вдаль уходил, в небеса ускользал,
Господи!

В понятие свободы входит простор,
количество
воздушных кубов, что лично тебе
положены,
чтоб, даже если ты руки протер,
вытянул,
не к потолку прикоснулся — к судьбе,
Господи!

РЕМОНТ ПУТИ

Электричка стала. Сколько
будет длиться эта стойка?
Сколько поезд простоит?
Что еще нам предстоит?

Я устал душой и телом.
Есть хочу и спать хочу.
Но с азартом оголтелым
взоры вокруг себя мечу.

Любопытство меня гложет:
сколько поезд простоит?
Сколько это длиться может?
Что еще нам предстоит?

Все вокруг застыли словно:
есть хотят и спать хотят,
но замшелые, как бревна,
связываться не хотят.

Очи долу опускает,
упадает голова,
та, в которой возникают
эти самые слова.

* * *

В промежутке в ожидании электрички
или между войнами двумя
есть свои законы и привычки.

Долго ждать, пока дойдет, гремя,
электричка та, очередная,
или та, грядущая, война.

Безвре́мье — тоже времена.
Можно жить, но только как, не знаю.

Безвре́мье, интервал, пробел,
как я перед вами обробел.

На войне, всемирной, не терялся,
в электричке, судорожной, ночной,
в чем-то схожей с мировой войной,
не терялся. Нынче — растерялся.

Нужно ждать, ждать, ждать
окончательной обточки.

Нужно дать, дать, дать
времени дойти до точки.

РЕПЕРУНИЗАЦИЯ

Выдыбает Перун отсыревший,
провонявший тиной речной.
Снова он — демиург озверевший,
а не идол работы ручной.

Снова бог он и делает вдох
и заглатывает полмира,
а ученые баяли: сдох!
Баснями соловья кормили.

Вот он — держится на плаву,
а ныряет все реже и реже.
В безобразную эту главу
кирпичом — потяжеле — врежу.

Врежешь! Как же! Лучше гляди,
что там ждет тебя впереди.
Вот он. И — вот она — толпа.
Кто-то ищет уже столпа
в честь Перунова воскрешенья
для Перунова водруженья.

Кто-то ищет уже столба
для повешенья утопивших,
Кто-то оду Перуну пишет.
Кто-то тихо шепчет: судьба.

ЧТО ПОЧЕМ

Деревенский мальчик, с детства знавший
что почем, в особенности лихо,
прогнанный с парадного хоть взашей,
с черного пролезет тихо.
Что ему престиж? Ведь засуха
высушила насухо
полсемьи, а он доголодал,
дотянул до урожая,
а начальству возражая,
он давно б, конечно, дубу дал.

Деревенский мальчик, выпускник
сельской школы, труженик, отличник,
чувств не переносит напускных,
слов торжественных и фраз различных.
Что ему? Он самолично видел
тот рожон и знает: не погрешь.
Свиньи съели. Бог, конечно, выдал.
И до зернышка сторела рожь.

Знает деревенское дитя,
сын и внук крестьянский, что в крестьянстве
ноне не прожить: погрязло в пьянстве,
в недостатках, рукава спустя.
Кончив факультет филологический,
тот, куда пришел почти босым,
вывод делает логический
мой герой, крестьянский внук и сын:
надо позабыть все то, что надо.
Надо помнить то, что повелят.
Надо, если надо,
и хвостом и словом повилать.

Те, кто к справедливости зывают,
в нем сочувствия не вызывают.
Тех, кто до сих пор права качает,
он не привечает.
Станет стукачом и палачом
для другого горемыки,
потому что лебеду и жмыхи
ел
и точно знает что почем.

* * *

Люблю антисемитов, задарма
дающих мне бесплатные уроки,
указывающих мне мои пороки
и назначающих охотно сроки,
в которые сведут меня с ума.

Но я не верю в точность их лимитов —
бег времени не раз их свел к нулю —
и потому люблю антисемитов!
Не разумом, так сердцем их люблю.

ТЕНИ КОСТРА

Самые насущные законы
общезития

еще в пещере
были человечеству знакомы
и опробованы в полной мере.

Проверяли их, переведали
их

и заносили на скрижали,
ничего они не потеряли!
Держат точно так же, как держали.

За душу и посейчас хватают,
кажется, костра большие тени.
До сих пор торжественно витают
над законами простыми теми.

МЕЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Счастьице в готовом
платьице с готовым
окончательным ответом
на любой вопрос,
счастьице от пары папирос,
от зари с рассветом.
Счастьице, без всяческих сомнений
и без долгих прений
порешившее, что мир хорош,
простенькое, как растение рожь,
перешившее шинель в пальто,
годное при любой погоде,
но зато
по последней моде.

Это счастьеце, уверенное, что
только в нем и счастье,
справедливо, кажется, отчасти.

Верно. Кто довольствуется им —
тот доподлинно доволен.
Вместе с микрокосмосом своим
он спокоен, волен.

Счастье пионера,
в горн трубящее,
или же пенсионера,
утром сколько хочешь спящее!
Ну и что же? Все же это — счастье.
За него, что стоит — заплачу.
Обозвать его мещанским —
не хочу!

* * *

На пророка бывает проруха:
ошибется, и напрочь вали.
Расценяют, как сплетни и слухи,
то, что напророчествовали.

У пророков бывают прорехи,
и пороки, и огрехи,
и не худо входить в положение,
в положение пророка входить
и судить не по пораженью,
а по высшей победе судить.

Между тем много реже soprano
этот дар: эта память вперед.
Всех пророков мира собранье
даже дюжину не соберет.

Так давайте побольше чуткости
к тем, кто крепок передним умом,
и не будем требовать четкости
от воскуренных ими дымов.

* * *

Воспоминаний вспомнить не велят:
неподходящие ко времени.

Поэтому они, скопляясь в темени,
вспухают и болят.

— Ведь было же, притом не так давно,
доподлинная истина, святая.

Но чья-то подпись завитая
под резолюцией: «Несвоевременно!»

СТАРЫЕ ОФИЦЕРЫ

Старых офицеров застал еще молодыми,
как застал молодыми старых большевиков,
и в ночных разговорах в тонком табачном дыме
слушал хмурые речи, полные обиняков.

Век, досрочную старость выделив
тридцатилетним,
брал еще молодого, делал его последним
в роде, в семье, в профессии,
в классе, в городе летнем.
Век обобщал поспешно,
часто верил сплетням.

Старые офицеры,
выправленные казармой,
прямо из старой армии
к нови белых армий
отшагнувшие лихо,
сделавшие шаг,
ваши хмурые речи до сих пор в ушах.

Точные счетоводы,
честные адвокаты,
слабые живописцы,
мажущие плакаты,
но с обязательной тенью
гибели на лице
и с постоянной памятью о скоростном конце!

Плохо быть разбитым,
а в гражданских войнах
не бывает довольных,
не бывает спокойных,
не бывает ушедших

в личную жизнь свою,
скажем, в любимое дело
или в родную семью.

Старые офицеры
старые сапоги
осторожно донашивали,
но доносить не успели,
слушали ночами, как приближались
шаги,
и зубами скрипели,
и терпели, терпели.

НЕМКА

Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло.

— Не хочу. На вокзал не пойду
с одеялом, ложкой и кружкой.
Эти вещи вещают беду
и грозят большой заварушкой.

Наведу им тень на плетень.
Не пойду. — Так сказала в тот день
в октябре сорок первого года
дочь какого-то шваба иль гота,

в просторечии немка; она
подлежала тогда выселению.
Все немецкое население
выселялось. Что делать, война.

Поначалу все же собрав
одеяло, ложку и кружку,
оросив слезами подушку,
все возможности перебрав:
— Не пойду! (с немецким упрямством)
Пусть меня волокут тягачом!
Никуда! Никогда! Нипочем!

Между тем, надежно упрятан
в клубы дыма,

Казанский вокзал
как насос высасывал лишних
из Москвы и окраин ближних,
потому что кто-то сказал,
потому что кто-то велел.
Это все исполнялось притко.

И у каждого немца белел
желтоватый квадрат открытки.

А в открытке три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

Но, застлав одеялом кровать,
ложку с кружкой упрятав в буфете,
порешила не открывать
никому ни за что на свете
немка, смелая баба была.

Что ж вы думаете? Не открыла,
не ходила, не говорила,
не шумела, свету не жгла,
не храпела, печь не топила.
Люди думали — умерла.

— В этом городе я родилась,
в этом городе я и подохну:
стихну, онемею, оглохну,
не найдет меня местная власть.

Как с подножки, спрыгнув с судьбы,
зиму всю перезимовала,
летом собирала грибы,
барахло на толчке продавала
и углы в квартире сдавала.
Между прочим, и мне.

Дабы
в этой были не усумнились,
за портретом мужским хранились
документы. Меж них желтел
той открытки прямоугольник.

Я его в руках повертел:
об угонах и о погонях
ничего. Три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

* * *

Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.

Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.

Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.

Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.

До речки не дойдя Днепра,
он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане жара была в то лето.

ПО РАССКАЗУ Л. ВОЛЫНСКОГО

Генерал Петров смотрел картины,
выиграл войну, потом смотрел.
Все форты, фашины и куртины,
все сраженья позабыв, смотрел.
Это было в Дрездене. В дыму
город был еще. Еще дымился.
Ставили холст за холстом ему.
Потрясался генерал, дивился.
Ни одной не допустив промашки,
называл он имена творцов —
Каналетто за ряды дворцов
и Ван Гога за его ромашки.
Много генерал перевидал,
защищал Одессу, Севастополь,
долго в облаках штабных витал,
по грязи дорожной долго топал.
Может быть, за все четыре года,
может быть, за все его бои
вышла

первая

Петрову льгота,
отпускные получил свои.
Первый раз его ударил хмель,
в жизни в рот не бравшего хмельного.
Он сурово молвит: «Рафаэль.
Да, Мадонна.
Да, поставьте снова».

* * *

Конец сороковых годов —
сорок восьмой, сорок девятый —
был весь какой-то смутный, смятый.
Его я вспомнить не готов.

Не отличался год от года,
как гунн от гунна, гот от гота
во вшивой сумрачной орде.
Не вспомню, ЧТО, КОГДА и ГДЕ.

В том веке я не помню вех,
но вся эпоха в слове «плохо».
Чергополох переполоха
проткнул забвенья белый снег.

Года, и месяцы, и дни
в плохой период слиплись, сбились,
стеснились, скучились, слепились
в комок. И в том комке — они,

АСТРОНОМИЯ И АВТОБИОГРАФИЯ

Говорят, что Медведиц столь медвежеватых
и закатов, оранжевых и рыжеватых, —
потому что, какой же он, к черту, закат,
если не рыжеват и не языкат, —

в небесах чужеземных я, нет, не увижу,
что граница доходит до неба и выше,
вдоль по небу идет, и преграды тверды,
отделяющие звезду от звезды.

Я вникать в астрономию не собираюсь,
но, родившийся здесь, умереть собираюсь
здесь! Не где-нибудь, здесь! И не там —
только здесь!
Потому что я здешний и тутошний весь.

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

(Элегия)

На этом кладбище простом
покрыты травкой молодой
и погребенный под крестом,
и упокоенный звездой.

Лежат, сомкнув бока могил.
И так в веках пребыть должны,
кого раскол разъединил
мировоззрения страны.

Как спорили звезда и крест!
Не согласились до сих пор!
Конечно, нет в России мест,
где был доспорен этот спор.

А ветер ударяет в жезл
креста и слышится: Бог есть!
И жезл звезды скрипит в ответ,
что бога не было и нет.

Пока была душа жива,
ревели эти голоса.
Теперь вокруг одна трава.
Теперь вокруг одни леса.

Но, словно затаенный вздох,
внезапно слышится: Есть Бог!
И словно приглушенный стон:
Нет бога! — отвечают в тон.

* * *

Иллюзия давала стол и кров,
родильный дом и крышку гробовую,
зато взамен брала живую кровь,
не иллюзорную. Живую.

И вот на нарисованной земле
живые зашумели ели,
и мы живого хлеба пайку ели
и руки грели в подлинной золе.

* * *

Отлежали свое в окопах,
отстояли в очередях,
кое-кто свое в оковах
оттомился на последних.

Вот и все: и пафосу — крышка,
весь он выдохся и устал,
стал он снова Отрепьевым Гришкой,
Лжедмитрием быть перестал.

Пафос пенсию получает.
Пафос хвори свои врачует.
И во внуках души не чаает.
И земли под собой не чует.

Оттого, что жив, что утром
кофе черный медленно пьет,
а потом с размышлением мудрым
домино на бульваре забьет.

* * *

Это — мелочи. Так сказать, блохи.
Изведем. Уничтожим дотла.
Но дела удивительно плохи.
Поразительно плохи дела.

Мы — поправим, наладим, отладим,
будем пыль из старья колотить
и проценты, быть может, заплатим.
Долг не сможем ни в жисть заплатить.

Улучшается все, поправляется,
с ежедневным заданьем справляется,
но задача, когда-то поставленная —
нерешенная, как была,
и стоит она — старая, старенькая,
и по-прежнему плохи дела.

* * *

Жгут архивы. К большим переменам
нету более точных примет.
Видно, что-то опять перемелет
жернов. Что-то сойдет на нет.

Дым архивов. Легкий, светлый
дым-дымок.
И уносит эпоху с ветром.
Кто бы только подумать мог?

Вековухой и перестарком
только памяти вековать,
а архивы перестали,
прекратили существовать.

КРАЙ ЗЕМЛИ

Ехал бог на белой кобыле,
а за ним до края земли
небольшие автомобили
малой скоростью нас везли.

Только там, где земля кончается,
раскрывается пропасти пасть.
Вот он, автомобиль!
Качается
перед тем, как упасть.

И сперва колеса передние
тщетно край земли когтят,
а потом колеса последние
оскользаются и летят.

Край земли,
край земли!
Дальше некуда.
Оторопь на мгновенье берет.
И уже нам жить больше некогда.
Головою вниз — прямо вперед!

* * *

Люди сметки и люди хватки
победили людей ума —
положили на обе лопатки,
наложили сверху дерьма.

Люди сметки, люди смекалки
точно знают, где что дают,
фигли-мигли и елки-палки
за хорошее продают.

Люди хватки, люди сноровки
знают, где что плохо лежит.
Ежедневно дают уроки,
что нам делать и как нам жить.



Не верю в величие величины:
большущие сукины сыны
с удобством, как солдаты белье,
таскают величие свое,
величие грязное носят
и даже почтения просят...
Послушайте мнение мое!
Величие планируемое,
спускаемое сверху —
оно не пройдет проверку.
Давайте установим срок,
хотя бы в полвека,
чтоб миром объявлять мирок
любого человека.
Давайте памятники сооружать
сначала не из металла,
чтоб, если после разрушать,
не так обидно стало.
Как Ленин, который на гипс один
ваятелям выдал право.
Проверим величие величин, —
так ли они величавы.

* * *

Сидя на полу,
а где — не важно
и за что — не важно,
ясно только то, что на полу —
трудно быть величественным.

Проверяйте деятелей по тому,
как они и выглядят и действуют,
сидя на полу.

На коне любой дурак державен
и торжественен.

Что, если ссадить его с седла,
попросить его хоть ненадолго
разместиться на полу?

Что он будет делать
и — как выглядеть,
сидя на полу?

МАДОННА И БОГОРОДИЦА

Много лет, как вырвалась Мадонна
на оперативный, на простор.
Это дело такта или тона.
Этот случай, в сущности, простой.

А у Богородицы поуже
горизонты и дела поуже.

Счеты с Богородицей другие,
и ее куда трудней внести в реестр
эстетической ли ностальгии
или живописи здешних мест

Тиражированная богомазом,
богомазом, а не «Огоньком»,
до сих пор она волнует разум,
в горле образовывая ком.

И покуда ветхая старуха,
древняя без края и конца,
имя Сына и Святаго Духа,
имя Бога самого Отца

рядом с именем предлинным ставит
Богородицы, покуда бьет
ей поклоны, воли не дает
наша агитация

и ставит

Богородице преград ряды:
потому что ждет от ней беды.

* * *

Жалкие символы наши:
медом и молоком
полные чаши.

Этого можно добиться,
если в лепешку разбиться.
Это недалеко:
мед, молоко.

Скоро накормим медом
и напоим молоком
всех, кто к тому влеком.
Что же мы дальше поставим
целью. Куда позовем?

ПРЕДЕЛЫ РАЗУМНОГО

**Далеки ли пределы разумного
у несчастного бедняка?
У раздетого, у разутого
эта даль — недалеко.**

**Как обуется он, оденется —
отодвинет сразу предел.
А пока никуда не денется,
хоть бы все глаза проглядел.**

**И бедняк сомневается в разуме,
начинает его клевать
и тяжелыми сыплет фразами,
что ему на все наплевать.**

* * *

Хан был хамом, большим нахалом.
Он сидел под опахалом.
На нукеров своих орал.
Человечество презирал.

Шут шутил для него шутливо.
Саади том для него издавал.
Стольник самые лучшие сливы
(или груши) ему подавал.

Вызывал то гнев, то жалость
этот неторопливый балет.
Между прочим, так продолжалось
ровно тысячу с чем-нибудь лет.

Нужно было, чтоб мир содрогнулся,
чтобы первый последним стал,
чтобы хан наконец заткнулся,
чтобы Саади льстить перестал,
чтобы шут шутить перестал.

ВСЕ ТЕЧЕТ, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

Гераклит с Демокритом —
их все изучали,
потому что они были в самом начале.
Каждый начал с яйца,
не дойдя до конца,
где-то посередине отстал по дороге,
Гераклита узнав, как родного отца,
Демокриту почтительно кланяясь в ноги.

Атомисты мы все, потому — Демокрит
заповедал нам, в атомах тех наторея,
диалектики все, потому — говорит
Гераклит свое пламенное «пантарея».

Если б с лекций да на собрания нас
каждый день аккуратнейше не пропирали,
может быть, в самом деле сознание масс
не вертелось в лекале, а шло по спирали.

Если б все черноземы родимой земли
не удобрили костью родных и знакомых,
может быть, постепенно до Канта дошли,
разобрались бы в нравственных, что ли, законах.

И товарищ растерянно мне говорит:
— Потерял все конспекты, но помню доселе —
был такой Гераклит
и еще Демокрит.
Конспектировать далее мы не успели.

Был бы кончен хоть раз философии курс,
тот, который раз двадцать был начат и прерван,
у воды бы и хлеба улучшился вкус,
судно справилось с качкой бы, с течью и креном.

* * *

Цель оправдывала средства
и—устала,
обсудила дело трезво:
перестала.

Средства, брошенные целью,
полны грусти,
как под срубленную елью
грибы-грузди.

Средства стонут, пропадают,
зной их морит.
Цель же рук не покладает:
руки моет.

НАСЛЕДСТВО

Кому же вы достались,
онегинские баки?
Народу, народу.

А гончие собаки?
Народу, народу.

А споры о поэзии?
А взгляды на природу?
А вольные профессии?
Народу, народу.

А благостные храмы?
Шекспировские драмы?
А комиков остроты?
Народу, народу.

Онегинские баки
усвоили пижоны,
а гончие собаки
снимаются в кино,
а в спорах о поэзии
умнеют наши жены,
а храмы под картошку
пошли и под зерно.

* * *

Черта под чертою. Пропала оседлость:
шаловное богатство, веселая бедность.
Пропало. Откочевало туда,
где призрачно счастье, фантомна беда.
Селедочка — слава и гордость стола,
селедочка в Лету давно уплыла.

Он вылетел в трубы освенцимских топок,
мир скатерти белой в субботу и стопок.
Он — черный. Он — жирный. Он — сладостный
дым.

А я его помню еще молодым.
А я его помню в обновах, шелках,
шуршащих, хрустящих, шумящих, как буря,
и в будни, когда он сидел в дураках,
стянув пояса или брови нахмуря.
Селедочка — слава и гордость стола,
селедочка в Лету давно уплыла.

Планета! Хорошая или плохая,
не знаю. Ее не хвалю и не хаю.
Я знаю немного. Я знаю одно:
планета сгорела до пепла давно.
Сгорели мелаеды в драных пальто.
Их нечто оборотилось в ничто.
Сгорели партийцы, сгорели путейцы,
пропойцы, паршивцы, десница и шуйца,
сгорели, утопи в потоках летежских,
исчезли, как семьи Мстиславских и Шуйских.
Селедочка — слава и гордость стола,
селедочка в Лету давно уплыла.

СЛУЧАЙ

Торопливо взглядывая на небо,
жизнь мы не продумывали наново:
облака так облака.
Слишком путь-дорога далека.

Поглядим — и вновь глаза опустим,
пожует коротенький смешок
и ремень какой-нибудь отпустим:
слишком врезался в плечо мешок.

Небо — было. Это, в общем, помнили.
Знали! И не приняли в расчет.
Чувствовали. Все-таки не поняли.
Нечет предпочли ему и чет.

Где-то между звездами и нами,
где-то между тучами и снами
случай плыл и лично все решал
и собственноручно совершал.

* * *

Круги на воде:
здесь век затонул.
Я — круг на воде.

Кольца на пне:
год прошел.
Я — кольцо на пне.

Круги в глазах:
пробил миг.
Я кружусь в глазах.

Круги на бумаге:
это мишень.
Пуля войдет в меня.

* * *

Неча фразы
подбирать.
Лучше сразу
помирать:
выдохнуть
и не вдохнуть,
не вздохнуть, не охнуть,
линию свою догнуть,
молчаливо сдохнуть.
Кончилось твое кино,
песенка отпета.
Абсолютно все равно,
как опишут это.
Все, что мог, — совершенно,
выхлебал всю кашу.
Совершенно все равно,
как об этом скажут.

ХОРОШАЯ СМЕРТЬ

И при виде василька
и под взглядом василиска
говорил, что жизнь — легка,
радовался, веселился,
улыбался и пылал.
Все — с улыбочкой живою.
Потерять лицо желал
только вместе с головою.

И, пойдя ему навстречу,
в середине бодрой речи,
как жужжанье комара,
прервалась его пора,
время, что своим считал...
Пять секунд он гаснул, глохнул,
воздух пальцами хватал—
рухнул. Даже и не охнул.

* * *

Как жалко он умирал! Как ужасно.
Как трогательно умирал. Как опасно
для веры в людей, в их гордость и мощь.
Как жалобно всех он просил помочь.

А что было делать? Что можно сделать —
все было сделано. И он это знал.
Прося тем не менее куда-то сбегать,
он знал: ни к чему — и что он: умирал.

А мы ему лучших таблеток для снов,
а мы ему — лучших пилюль от боли,
соломинок, можно сказать, целый сноп,
да что там сноп — обширное поле

ему протягивали. Он цеплялся.
Его вытягивали из нескольких бездн,
а он благодарствовал, он умилялся,
вертелся волчком, как мелкий бес.

А я по старой привычке школьной,
не отходя и сбившись с ног,
в любой ситуации, даже невольной,
старался полезный черпнуть урок.

— Не так! С таблетками ли, без таблеток,
но только не так, не так, не эдак.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Я даже не набрался,
когда домой вернулся:
такая наша раса —
и минусы и плюсы.
Я даже не набрался,
когда домой добрался,
хотя совсем собрался:
такая наша раса.

Пока все пили, пили,
я думал, думал, думал.
Я думал: или-или.
Опять загнали в угол.
Вот я из части убыл.
Вот я до дому прибыл.
Опять загнали в угол:
с меня какая прибыль?

Какой-то хмырь ледащий
сказал о дне грядущем,
что путь мой настоящий —
в эстраде быть ведущим
или в торговле — завом,
или в аптеке — замом.
Да, в угол был я загнан,
но не погиб, не запил.

И вот, за века четверть
в борьбе, в гоньбе, в аврале,
меня не взяли черти,
как бы они ни брали.
Я уцелел
Я одолел.
Я — к старости — повеселел.

* * *

Долголетье исправит
все долги лихолетья.
И Ахматову славят,
кто стегал ее плетью.

Все случится и выйдет,
если небо поможет.
Долгожитель увидит
то, что житель не сможет,

Не для двадцатилетних,
не для юных и вздорных
этот мир, а для древних,
для эпохоупорных,

для здоровье блюдущих,
некурящих, непьющих,
только в ногу идущих,
только в урны плюющих.

ХВАЛА ГУЛЛИВЕРУ

Чем хорош Гулливер? Очевидным, общепонятным поворотом судьбы? Тем, что дал он всемирный пример? Нет, не этим движением, поступательным или попятным, замечателен Гулливер.

Он скорее хорош тем, что, ветром судьбины гонимый, погибая, спасаясь, погибнув и спасшись опять, гнул свое!

Что ему там ни ржали гуингны,
как его бы ни путала лилипутская рать.

Снизу вверх — на гиганта,
сверху вниз — на пигмея
глядя,
был человеком всегда Гулливер,
и от счастья мужая,
и от страха немея,
предпочел навсегда
человеческий только
размер.

Мы попробовали
микрокосмы и макрокосмы,
но куда предпочтительней —
опыт гласит и расчет —
золотого подсолнечника
желтые космы,
что под желтыми космами
золотого же солнца
растет.

* * *

Екатерининский солдат,
он, словно рубль елизаветинский,
до блеска он надраен, так,
что на ходу звенит и светится.

Звенит суворовским штыком,
блестит ружьем своим старинным
и медью пуговиц. Таков
солдат времен Екатерины.

Екатерининский солдат,
не спрашивая у грядущего,
идет, куда ему велят,
в затылке впереди идущего.

И укрощая варшавян,
освобождает он миланца,
и прет вперед, толков и рьян,
согнувшись под нагрузкой ранца.

Мила мне выправка его,
пудовая обидна выкладка.
Не пожелаю ничего
другого, только б видеть вылазку

его сквозь Альпы! Прямо вниз!
Его прыжок французу на голову!
Его, прекрасного и храброго!
Примстись, суворовец!
Приснись!

ТЕХНАРИ

Звякнул электрон об электрон.
Хромосомы трутся друг об дружку.
А ученый ест свою ватрушку,
это чувствуя своим нутром.

Выведен какой-то новый сорт
человека, слышащего лязги
звезд о звезды, чующего тряску
атомов на дне реторт.

А глядишь: пьет, курит и поет
то же: водку, песню, сигарету,
слыша популярного поэта,
тотчас заявляет: — Во дает!

Это— пена, а волна
в том, что, вникнувши во все подробности,
понимает мир он и без робости,
если надо, прет против рожна.

* * *

Человек состоит из способности и потребности,
из привычек, обязанностей, идей,
чувства голода, чувства ревности —
вот таков примерный состав людей.

Соотношение свершенья с желаньем
позволяет достичь вершин.

Мы, конечно, то, что мы желаем,
но также и то, что мы свершим.

* * *

Самоутверждайся, человек!
Сможешь — напиши «Шильонский замок».
Нет — приди в Шильонский замок
и на стенах знаменитых самых
всех имен и дат поверх
напиши свой титул, год и век!

Байрон, и Гюго, и Шелли
выскребли свое! Посмели.
Смей и ты!
Пусть взглянет с высоты
сквозь столетний мрак
будущего
твой потомок
и заявит: вот подонок,
что он стены портил; вот дурак.

Байрон, Шелли и Гюго
гоготали здесь ио-го-го:
личное, свое, неповторимое, —
вечное партача и старинное,
имена на камне проскребли
и до нас сквозь целый век дошли.

Самоутверждайся, друг и брат!
Я, признаться, очень рад
видеть на стене второго века
надпись следующего века.
Личность утверждалась и тогда:
римляне, вандалы, готы, турки.
Не такая уж беда
порча штукатурки.

Все против тебя: пространство, время,
моралисты, маляры.

Как тебе из нашенской поры
просочиться в будущее время?
Осмотришь, как Байрон, и пиши,
в камне выбит,
а не в шелке вышит.
К счастью, по соседству ни души —
все на разных стенах пишут!

ЧЕРНЫЕ БРОВИ

Дети пленных турчанок,
как Разин Степан,
как Василий Андреич Жуковский,
не пошли они по материнским стопам,
а пошли по дороге отцовской.

Эти гены турецкие — Ближний Восток,
что и мягок, и гневен, и добр, и жесток —
не сыграли роли значительной.
Нет, решающим фактором стали отцы,
офицеры гвардейские ли, удалыцы
с Дону, что ли, реки той медлительной.

Только черные брови, их бархатный нимб
утверждали без лишнего гнева:
колыбельные песни, что пелись над ним,
не российского были распева.

Впрочем, что нам копать в анкетах отца
русской вольности

и в анкетах певца

русской нежности.

Много ли толку?

Лучше вспомним про Питер и Волгу.

Там не спрашивали, как звалась твоя мать.
Зато спрашивали, что ты можешь слагать,
проверяли, как ты можешь рубить,
и решали, что делать с тобой и как быть.

* * *

Вот и проросла судьба чужая
сквозь асфальт моей судьбы,
истребляя и уничтожая
себялюбие мое.

Вот и протолкалась эта травка
и поглядывает робко,
поднимая для затравки
темные, густые бровки.

Теми бровками глаза оправлены,
капли доброго огня.

Здравствуй, зайчик солнечный, направленный
кем-то в шутку
на меня

ТАТЬЯНА, НАТАЛЬЯ

В это десятилетие
новорожденных девочек
называли Татьянами
или — не реже — Натальями.
Татьянами и Натальями.
Татьянами, как у Пушкина.
Как у Толстого — Натальями.
А почему — неведомо.
Если размыслить — ведомо.
Прошрое столетие,
век Толстого и Пушкина,
возобновило влияние.
— По восемь Танек в классе! —
жаловались знакомые. —
Они нумеруют друг друга,
чтобы не запутаться. —
Знакомые жаловались,
но новорожденных девочек
записывали неукоснительно
Татьянами и Натальями,
Натальями и Татьянами.
Тургеневские женщины
были тогда спланированы,
но с именами толстовскими
и — особенно — пушкинскими —
певучими, протяжными,
пленительными, трехсложными,
удобными для произнесения
в бреду, в забытьи, в отчаянии
и — особенно — в радости.
Отчетливые в шепоте,
негодные для окрика.
Кончаю стихотворение,
чтоб тихо, чтоб неслышимо
позвать: Татьяна! Наталья! —
и вижу, как оборачиваются
уже тридцатилетние,
еще молодые красавицы.

* * *

Интеллигентные дамы плачут, но про себя,
боясь обеспокоить свое родство и соседство,
а деревенские бабы плачут и про себя,
и про все человечество.

Оба способа плача по-своему хороши,
если ими омоется горькое и прожитое.
Я душе приоткрытой полузакрытой души
не предпочитаю.

Плачьте, дамы и женщины, или рыдайте всерьез.
Капля моря в слезинке, оба они соленые.
Старое и погрязшее смойте потоками слез,
всё остудите каленое.

* * *

Что думает его супруга дорогая,
с такую яростью оберегая
свою семью, свою беду,
свой собственный микрорайон в аду?

За что цепляется?
Царапает за что,
когда, закутавшись в холодное пальто,
священным вдохновением объята,
названивает из автомата?

Тот угол, жизнь в который загнала,
зачем она, от бешенства бела,
с аргументацией такой победной
так защищает,
темный угол, бедный?

Не лучше ли без спору сдать позиции,
от интуиции его, амбиции
отделавшись и отказавшись вдруг?
Не лучше ли сбыть с рук?

Но не учитывая, как звонок
сопернице
сторицей ей воздастся,
она бежит звонить, сбиваясь с ног
и думая:
«А может быть, удастся?»

ГЛУХОЕ ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Справедливости глухое чувство
глухо, но не немо.
Пальцы сжав до костяного хруста,
зазвенев от гнева,
загораясь, тлея, полыхая,
распахнувши душу,
чувство справедливости глухое
я обрушу.

Этого приемника питанье
емко без границы,
то ли в генах, то ли в воспитаньи,
видимо, хранится.
Даже осуждающие взгляды
эту сеть питают.
А другого ничего не надо.
Этого хватает.

Справедливость слышит очень плохо,
но кричит истошно,
так, что вздрагивает вся эпоха,
вслушавшись оплошно,
так, что вздрагивают все державы:
мол, сейчас начнется.
Если справедливость задрожала,
мир качнется.

Доказательств некоторых нету,
нету основанья,
но трясет великую планету
мальчика рыданье.
Вдруг преодолев свою сонливость,
вялую истому,
слушает глухая справедливость
тихонькие стоны.

* * *

Как выглядела королева Лир,
по документам Королёва Лира,
в двадцатые — красавица, кумир,
в конце тридцатых — дребезги кумира?

Как серебрилась эта седина,
как набухали этих ног отеки,
когда явилась среди нас она,
размазав по душе кровоподтеки.

К трагедии приписан акт шестой:
дожитие. Не жизнь, а что-то вроде.
С улыбочкой, жестокой и простой,
она встает при всем честном народе.

У ней дела! У ней внучата есть.
Она за всю Европу отвечала.
Теперь ее величие и честь—
тянуть все то, что начато сначала.

Все дочери погибли. Но внучат
она не даст! Упрямо возражает!
Не славы чад, а просто кухни чад
и прачечной седины окружает.

Предательницы дочери и та,
что от нее тогда не отказалась,
погибли. Не осталось ни черта,
ни черточки единой не осталось.

Пал занавес, и публика ушла.
Не ведая и не подозревая,
что жизнь еще не вовсе отошла,
большая, трудовая, горевая.

Что у внучат экзамены, что им
ботинок надо, счастья надо вдоволь.
Какой пружиной живы эти вдовы!
Какие мы трагедии таим!

* * *

Темницы двадцатого века
с их лампами в тыщу свечей
для бедных очей человека,
для светлюбивых очей.

Темницы с горячею лампой,
истории тормоза,
со светом, как будто бы лапой
царапающим глаза.

И эти темницы, считают,
похуже, чем древние те,
и в этих темницах мечтают
о тьме,
о сплошной темноте.

* * *

Я рос и вырос в странной стране,
в какой-то всеобщей начальной школе,
всех принудительно учили грамоте,
а после некогда было читать.
Учили грамоте и политграмоте
по самым лучшим в мире учебникам,
учили даже философии,
но не давали философствовать.
Мы с детства были подготовлены
хоть к руководству революцией,
хоть к управленью государством.
Поэтому места, очищенные
одним правителем,
немедля и без трения
спокойно замещались заместителем.
Поэтому 37-й
не только подготовил 41-й,
но 45-му не помешал.

ПРИМЕТЫ

Война была выиграна,
победа была за нами.
Он вынес, выдюжил, выдержал,
державший нас волосок.
Блистая погонами новыми
и вытертыми штанами,
пришли мы в пол-Европы
и Азии добрый кусок.

Мы выпались, мы побрились,
мы сапоги надраили,
мы обсуждаем приметы,
лежа на блиндаже.
Псы, которые выли,
вороны, которые граяли,
кошки, которые бегали,
нам не грозят уже.

Выходит, что все приметы,
реявшие, как знамя,
грозившие, как кометы,
занесены не над нами.
И мы, собравшись в кучку,
наводим тень на плетень,
что солнце село не в тучку
и будет добрый день.

* * *

Куда-то в детство поезда ушли.
На смену самолеты прилетели
и так же отрывают от земли,
как в детстве выгоняли из постели
и снаряжали в школу, в первый класс.
Новинки техники обстали нас
и долгое теперь — короче все,
все потолки — до неба поднялись,
и пал Жюль Верн, поскольку все пророчества,
все предсказания его — сбылись.
И пал Уэллс, поскольку не фантаст,
а реалист теперь он самый плоский,
и остается только Маяковский,
сопровождает в будущее нас.

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Брали карандаш и гнули линию,
чтобы по когтям узнали льва,
или брали кисть и небо синее
мазали, мазнув едва.

Вот какие были, вот какую
линию согнули не спеша,
иногда кукушками кукуя:
сколько лет еще жива душа?

Погибали молодыми,
и во глубине сибирских руд
все равно не расплывался в дыме
крематория их вклад, их труд.

То ли кровь другая, то ли кости?
Что-то в них устроено? Едва ли.
Не сгнивали даже на погосте.
Тлели— не перетлевали.

Через сорок лет и сорок пять
их друзей стареющих остатки
переносят бранные останки.
И в Москве они живут опять.

* * *

Писали по-сверхчеловечьи,
а жили левача, ловча,
истаивали, как свечи,
но, в общем, смердела свеча.
По-ангельски, по-демонски
жили, не по-людски.
И кончилось это демаски-
ровкой и на куски
разъятием, распадением
под чьей-то сильной рукой.
И, что представлялось гением,
оказалось трухой.

* * *

Я помню твой жестоковыйный норов
и среди многих разговоров
один. По Харькову мы шли вдвоем.
Молчали. Каждый о своем.
Ты думал и продумал. И с усмешкой
сказал мне: — Погоди, помешкай,
поэт с такой фамилией, на «цкий»,
как у тебя, немислим. — Словно кий
держа в руке, загнал навеки в лузу
меня. Я верил гению и вкусу.
Да, Пушкин был на «ин», а Блок — на «ок».
На «цкий» я вспомнить никого не мог.

Нет, смог! Я рот раскрыл. — Молчи, «цкий».
— Нет, не смолчу. Фамилия Кульчицкий,
как и моя, кончается на «цкий»!
Я первый раз на друга поднял кий.
Я поднял руку на вождя, на бога,
учителя, который мне так много
дал, объяснял, помогал
и очень редко мною помыкал.

Вождь был как вождь. Бог был такой, как
нужно.

Он в плечи голову втянул натужно.
Ту голову ударил бумеранг.
Оборонясь, не пощадил я ран.
— Тебе куда? Сюда? А мне — туда.

Я шел один и думал, что беда
пришла. Но не искал лекарства
от гнева божьего. Республиканства,
свободолюбия сладчайший грех
мне показался слаще качеств всех.

* * *

Я с той старухой хладновежлив был:
знал недостатки, уважал достоинства,
особенно, спокойное достоинство,
морозный, ледовитый пыл.

Республиканец с молодых зубов,
не принимал я это королевствование:
осанку, ореол и шествование, —
весь мир господ и, стало быть, рабов.

В ее каморке оседала лесть,
как пепел после долгого пожара.
С каким значеньем руку мне пожала.
И я уразумел: тесть любит лесть.

Вселенная, которую с трудом
вернул я в хаос: с муками и болью,
здесь сызнова была сырьем, рудой
для пьедестала. И того не более.

А может быть, я в чем-то и неправ:
в эпоху понижения значения
людей

 она вручила назначение
самой себе

 и выбрала из прав

важнейшие,

 те, что сама хотела,
какая челядь как бы не тряслась,
какая чернь при этом не свистела,
не гневалась какая власть.

Я путь не принимал, но это был
путь. При почти всеобщем бездорожье
он был оплачен многого дороже.
И я ценил холодный грустный пыл.

* * *

Заученный, зачитанный,
залистанный до дыр,
Сельвинский мой учитель,
но Пушкин — командир.

Сельвинский мой учитель,
но более у чисел,
у фактов, у быльи
тогда учился я.

* * *

Как пушкинский рисунок на полях,
я не имею отношенья к тексту
и вылеплен я из другого теста,
чужого я монастыря монах.

Но и во мне, как в пушкинском рисунке,
поймет знаток, и даже небольшой,
то, не укладывающееся в рассудке,
легко установимое душой
подобие и сходство, сродство
с гремящей, плавной силою стиха,
и если слишком мощь моя тиха —
то все-таки по возрасту и росту,
по цвету глаз, курчавости волос
и по походке даже, по повадке
имеют отношенья неполадки
мои

к тому, чем Пушкин в землю врос.

* * *

Я, рожденный в сорочке, сорочку
променял на хорошую строчку
и выплачиваю в рассрочку
то, что взял у Пушкина с Блоком.
Я улегся строительным блоком
в стройку, словом вошел в словарь.
Пушкин был и есть наш главарь.
Мы — сапожники. Слово — кожа.
Мы — художники. Слово — краски.
Мы — гудошники. Слово — сказка
про богов и про небо тоже.
Слово — это наше дело.
Наши дали — в пределах Даля.
Никуда я себя не дену,
только в книги — те, что издали,
те, что ныне еще в производстве,
те, что ныне еще в задумке.
Слово, то, что мягче воска,
слово, то, что крепче дуба,
слово, так, как оно сказалось,
на всю жизнь ко мне привязалось.

* * *

Я слишком знаменитым не бывал,
но в перечнях меня перечисляли.
В обоях, правда, вовсе не в начале,
к концу поближе — часто пребывал.

В двух городах — и Праге, и Саратове, —
а почему, не понимаю сам, —
меня ценили, восхищались, ратовали,
и я был благодарен голосам,
ко мне донесшимся из дальней дали,
где почитатели меня издали.

* * *

Стих, как будто почвы Подмосковья,
требует внимания с любовью.

Если чернозема не найдешь —
химию применит молодежь.

Если супеси одни остались —
ум и опыт применяет старость.

А единственного урожая
ради
жгущим вечные леса,
скоростным возмездьем угрожая,
капли не подарят небеса.

К своему громчайшему труду
привыкая, стал ценить я более
тихий труд копающих руду,
молчаливую работу в поле.

Потому что почвы Подмосковья
и руда уральская скорей
даже,
чем анапест и хорей,
требуют внимания с любовью.

* * *

Возвышала душу поэзия.
Выжимало слезы
кино.
Впрочем, все это было давно.
У меня другая профессия.

Не пленять я хочу — выяснять
и не умилять, а исследовать,
я сначала хочу понять,
а потом уже далее следовать.

Я развенчиваю искусство,
я развинчиваю искусство,
я в середку его гляжу,
что-то там для себя нахожу.

* * *

Действительность в строку не помещалась —
никак ее туда не затолку.

Ее счастливость и ее печальность
не вписывались ни за что в строку.

А мне нужна не живопись ландшафта,
не музыка небесных сфер —
действительность — чтобы, в строку зажата,
она являла образ и пример.

Ее захватанность и удивительность,
ее перение против рожна.
Обычная, ничтожная действительность,
великая действительность нужна.

Чтобы зеркально-верно мир баллады
мир жизни описал! Не претворил!
Чтоб, скажем, если бриться было надо,
я б в лирику смотрел и щеки брил.

СМЫВКА КИНОПЛЕНКИ

Все говорят, имеется настой,
такой раствор, ну, кислота такая.
И светлая большая мастерская.
Процесс смыванья — азбучно-простой.
Смывают — всё, но как же журавли?
Неужто смыли журавлей летящих
и клочья пленки уложили в ящик?
Наверное, не смыли. Не смогли.
Нет, не смогли. Они слетели сами
и крыльями качнули все подряд.
И слышно — старожилы говорят,
что не упомнят: сколько над лесами,
а сколько их над зеленью полей.
Летят. Летят, не глядя на погоду,
и с тысяча забыл какого года
никто не видел столько журавлей.

ДОБРОТА ДНЯ

1973

* * *

Интеллигентнее всех в стране
девятиклассники, десятиклассники.
Ими только что прочитаны классики
и не забыты еще вполне.

Все измерения для них ясны:
знают, какой глубины и длины
горы страны, озера страны,
реки страны, города страны.

В справочники не приучились лезть,
любят новинки стиха и прозы
и обсуждают Любовь, Честь,
Совість, Долг и другие вопросы.

ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ

В России списывают трактора
и никогда—автомобили.

Они ль допустят,
чтобы их забыли?

Они ль признают,
что пришла пора?

Те марки,
что в Москве запрещены,
погашены,

иной эпохи марки —
в провинции, как до войны,

раскатывают —
шатко-валко.

А трактора идут в металлолом.
Они опять становятся металлом.
Они опять точны, как эталон,
который не посмеет быть усталым.

СУДЬБА

Судьба — как женщина судья
со строгостью необходимой.

А перед ней — виновный я,
допрошенный и подсудимый.

Ее зарплата в месяц — сто,
за все, что было, все, что будет,
а также за меня — за то,
что судит и всегда осудит.

Усталая от всех забот —
домашних, личных и служебных,
она — как маленький завод
и как неопытный волшебник.

Она чарует и сверлит,
она — как маленький завод
то стареньким орлом орлит,
то шумным ханом — государит.

А мне-то что? А я стою.
Мне жалко, что она плохая,
но бедную судьбу мою
не осуждаю и не хаю.

Я сам подкладываю тол
для собственного разрушенья
и, перегнувшись через стол,
подсказываю ей решенья.

ПРИВЯЗЧИВАЯ МЕЛОДИЯ

Глухая музыка, затертая стеной,
сочащаяся, словно кровь сквозь марлю,
как рыженький котенок малый,
увязывается вслед за мной.

Что требуется музыке глухой,
невзрачной песне
от меня? Немного.

Молчания почти немого —
учитывается слух плохой, —

а также подчинения всего:
походки, ритма и существования —
ее знахарству, чарам, волхвованью,
владычеству.

А больше ничего.

ПОЦЕЛУЙ В ТЕМНОТЕ

Поцелуй в темноте. Часы
остановлены. Звезды — выключены.
Все страдания мира — вылечены.
Все стремления мира — чисты.

И покуда он длится, длится
поцелуй во тьме, во тьме,
темным снегом на светлые лица
сыплет,
как подобает зиме.

Тает снег от тихой горячности,
заливая свидания те,
и восходит в вечерней мрачности
светлый
поцелуй
в темноте.

О БОРЬБЕ С ШУМОМ

Надо привыкнуть к музыке за стеной,
к музыке под ногами,
к музыке над головами.
Это хочешь не хочешь, но пребудет со мной,
с нами, с вами.

Запах двадцатого века — звук.
Каждый миг старается, если не вскрикнуть —
скрипнуть.

Остается одно из двух —
привыкнуть или погибнуть.

И привыкает, кто может,
и погибает, кто
не может, не хочет, не терпит, не выносит,
кто каждый звук надкусит, поматросит и бросит.
Он и погибнет зато.

Привыкли же, притерпелись к скрипу земной оси!
Звездное передвижение нас по ночам не будит!
А тишины не проси.
Ее не будет.

КОСЫЕ ЛИНЕЙКИ

Россия — не Азия. Реки здесь
не уходят в пески.

Из самотека

Косолинейная — в стиле дождя —
ученическая тетрадка.

В ней сформулировано кратко
все,
до чего постепенно дойдя,
все,
до чего на протяжении
жизни
додумался он,
что нашел.

В ходе бумажного передвижения
это попало ко мне на стол.

Тщетна ли тщательность?
Круглые буковки?
Все до единой застегнуты пуговики.
Главные мысли,
как гости почетные,
в красном углу
красной строки.
Доводы — аккуратно подчеркнуты,
прономерованы четко листки.

Впрочем, подробности эти — технические.
Мысли же — мученические,
а не ученические.
Сам дописался,
додумался сам!

Сам из квартиры своей коммунальной
с робкой улыбочкой машинальной
вызовы посылал небесам.

На фотографии,
до желтизны
блеклой,
отчетливо все же видны —
взгляд,
прозревающий синие дали,
словно исполненный важной печали,
профиль,
быть может, поморских кровей,
бритость щеки, темень бровей,
галстук,
завязанный без ошибки,
и машинальность робкой улыбки.

Эта последняя фотография
и неподробная биография
вложены вместе с тетрадкой в пакет.
Адреса же обратного нет.

Видно, и в том городке небольшом,
что разбирается все же на штемпеле,
верится плохо, чтоб кто-то нашел
волю, и силу, и время

из темени
светы погасшие извлечь.
Дело закрыто. Оборвана речь.

Я ощущаю внезапно
спиной,
кожей
и всем,
что мне в душу насовано:
то, что сегодня прочитано мной, —
мне адресовано!

Преподаватель истории,
тот,
что сочинил это все
и скончался,
был в своем праве, когда не отчаивался.
Знал, что дойдет.

Это — дошло.
Я сначала прочту.
Я перечту.
Я пометки учту.

Я постараюсь ужо,
чтоб Москва,
я поработаю,
чтобы Россия
тщательные прочитала слова,
вписанные в линейки косые.

ПЕРЕВОЖУ БРЕХТА

Я Брехта грузного перевожу.
Перевожу я Брехта неуклюжего.
Не расплету веревочное кружево.
К его Пегасу не сыщу вожжу.

Часы уже долдонят полвторого,
а я по-прежнему на полпути.
Нет, нелегко немецкую корову
из стойла

в наше стойло увести.

Нет, нелегко немецкую ворону
по-нашему заставить говорить.
В немецкую тупую оборону
непросто

дверь тугую отворить.

Фонетика какая!
Треск и лязг!
А логика какая!
Гегель с Кантом!
Зато лирических не точит ляс.
Доказывает!
С толком и талантом.

Германия!
Орешек сей куда
как крепок, тверд.
И счастье и беда
в нем прозвучали вещими стихами.
А Брехта многомудрые слова
под воем бомб ни разу не стихали
и стихнут ли когда-нибудь?

Едва ли.

Едва ли,

говорю я вам,

едва ли.

* * *

Смешливость, а не жестокость,
улыбка, а не издевка:
это я скоро понял
и в душу его принял.
Я принял его в душу
и слово свое не нарушу
и, как он ни мельтеши,
не выброшу из души.

Как в знакомую местность,
вхожу в его легковесность.

Как дороге торной
внезапный ухаб простишь,
прощаю характер вздорный,
не подрываю престиж.

Беру его в товарищи,
в спутники беру —
у праздного, у болтающего
есть устремленья к добру.

ЗАБОЛОЦКИЙ СПИТ В ИТАЛЬЯНСКОЙ ГОСТИНИЦЕ

У пригласивших было мало денег,
и комнату нам сняли на двоих.
Умаявшись в банкетах и хождениях,
мы засыпали тотчас, в один миг.
Потом неврастения, ностальгия,
луна или какие-то другие
последствия пережитого дня
будили неминуемо меня.

Но Заболоцкий спал. Его черты
темнила ночь Италии. Белила
луна Италии, что с высоты
лучами нашу комнату делила.
Я всматривался в сладостный покой,
усталостью, и возрастом, и ночью
подаренный. Я наблюдал воочью,
как закрывался он от звезд рукой,
как он как бы невольно отстранял
и шепоты гостиничного зданья,
и грохоты коллизий мирозданья,
как будто утверждал: не сочинял
я этого! За это — не в ответе!

Оставьте же меня в концов конце!
И ночью и тем паче на рассвете
невинность выступала на лице.
Что выдержка и дисциплина днем
стесняли и заковывали в латы,
освобождалось, проступало в нем
раскованно, безудержно, крылато.
Как будто атом ямба разложив,
поэзия рванулась к благодати!
Спал Заболоцкий, руку подложив
под щеку, розовую, как у дитяти,
под толстую и детскую. Она

покоилась на трудовой ладони
удобно, как покоится луна
в космической и облачной ледыни.
Спал Заболоцкий. Сладостно сопел,
вдыхая тибуртинские миазмы,
и содрогался, будто бы от астмы,
и вновь сопел, как будто что-то пел
в неслыханной, особой, новой гамме.
Понятно было: не сопит — поет.
И упирался сильными ногами
в гостиничной кровати переплет.

ТОНЯ КАЛАЧЕВА

Вдова ли первая жена?
Одна из многих?
Да, наверно.
По крайней мере, в то мгновение,
когда ей прозвонят слова,
как материк и острова,
ее с прошедшим разделяющие,
ужасные и впечатляющие
и равнодушные слова.

Ее окатит, словно дождь.
Ее охватит, как объятье,
и ей не хватит вероятья,
и тихо вскрикнет: это ложь.

Ложь! Перерезанная нить
перерезается вторично.
Ее касается так лично,
что невозможно объяснить.

Теряется опять потеря.
На этот раз в последний раз.
Ложь! Тихо вскрикивает, веря,
уже поверя.

Время — час.
Квартира дрыхнет, коммуналка,
дыша, ворочаясь, сопя,
и ей становится так жалко
его. Еще жалчей себя.

Ее новейший благоверный
спросонок спросит: чей звонок?
И снова спит без задних ног
от равнодушья — легковерный.

СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ

Переводчик со всех языков,
почти всех, нет, со всех до единого,
был спокоен, печален, толков.

Ни гусяного, ни лебединого
не употреблял он пера,
но, когда приходила пора
и приспичивали договора,
за машинку садился, и сразу
находил подходящую фразу,
и рубил на манер топора,
и стучал за строфою строфу,
не стараясь и не озоруя,
излагая трухою труху,
но подстрочник не лакируя.

За ночь он без труда сочинял
сто, сто двадцать и более строчек,
но ни разу не очинял
он, со всех языков переводчик,
ни гусяного, ни лебединого —
не употреблял он пера.

Но когда приходила пора
договору,
 стучал до утра
переводчик со всех до единого.
Пользу он приносил или вред,
был халтурщик или культуртрегер,
но возился с таковским отребьем,
что жалчей и отрепанней — нет.
Ту дерюгу раздергивал он,
ткал из ниток другую дерюгу.
Не желаю и злейшему другу

НЕГРИТЕНОК

Голову мне на плечо положив,
спал студент, отдыхал пассажир.
Только уселись, только устроились —
дважды зевнул и сразу заснул.
Мы еще не взлетели, не стронулись,
он уже в третий сон заглянул.
Спит аккуратно,
прилично, опрятно,
изредка шепчет,
ничуть не храпит.
Пусть его спит!

Волосы жестче и гуще,
чем африканские кущи,
те, из которых он родом.
С туго застегнутым воротом
спит он, измаянный городом,
посланный малым народом
парень из древнего леса.
Спи, отдыхай, африканский студент.
Давний!

(В московское обут и одет.)

Видно, отличник ты, не повеса.

Спи, отдыхай от Москвы,
от убыстренья истории.
Здесь, в самолете, как в санатории,
сразу же засыпаете вы.

Что тебя в Африке ждет?
Кем тебе быть?
Арестантом? Министром?
Здесь, в реактивном, сверхбыстром
десять часов никто не найдет.
Выдвинут или задвинут тебя?

Тихо,
неслышно,
приятно
сопя,
спишь,

и Москва с грохотаньем огромным
снится тебе в самолете укромном,
скатывается с тебя, словно море.
Что тебя ждет?
Повышение? Горе?
Спи!

МОЛОДЯТА

Я был молод в конце войны,
но намного меня моложе
были те, кто рождены
на пять, на шесть, на семь лет позже.

Мне казалось: на шестьдесят.
Мне казалось: на полстолетья,
пережившие лихолетье,
старше мы вот тех, молодят.

Мне казалось, что как в штабах,
как в армейских отделах кадров —
месяц за год — и все! Табак!
Крышка! Кончено! Бью вашу карту!

Между тем они подросли,
преимуществ моих не признали,
доросли и переросли,
и догнали и перегнали.

Оказалось: у них дела.
Оказалось: у них задачи,
достиженья, победы, удачи,
а война была — и прошла.

ПОДПОЛКОВНИК

М. Светлову

Аэродромы малой авиации
заслуживают длительной овации.

Луговина мокрая от мая
иль пыльная от июля.

Ненужный плетень сломали.

Нужное шоссе свернули.

Шест.

На нем полосатый, раздутый ветрами мешок.

И подполковник, просквоженный до самых кишок.

Вот и все.

Он исполнен иронии к самому себе,
к врачам, списавшим его из большой авиации,

к погоде, к судьбе

и все же заслуживает длительной овации.

Он приучил колхозных старух

не только не бояться полета,

но и ругаться вслух

при десятиминутном опоздании пилота.

Не требуя ассигновок на шоссе,

благодаря своим рейсам нечастым,

все совхозы, колхозы все

он связал с районным начальством.

Купив киоск на собственный счет,

добился открытия «Союзпечати»,

сколько дождь его ни сечет,

в его иронии нет печали.

Гордясь победоносной войной,

в чаяньи грядущих лет беспокойных,

он представляется не

отставной,

а просто подполковник.

СОЛОВЬЕВ С КЛЮЧЕВСКИМ

Бесконечный и мощный, великий туннель,
потрясающий длительностью и объемом,
и его бесконечность, громадность теней
освещают Ключевский вдвоем с Соловьевым.

В ту эпоху и пору поповичи шли на рожон
и светили, покуда горели.
Эти двое, напротив, любили холодный резон,
аргументы, и доводы, и достижимые цели.

Призывался попович к царевичу — в Зимний дворец,
обучить на царя, разъяснить и проблемы и факты,
но не думал при этом, что он демиург и творец,
думал: может быть, что-нибудь сделаю как-то.

У последних Романовых были тупые мозги —
непокладисты, высокомерны, строптивы.
Возвращаясь с урока, не видел попович ни зги,
никакой перспективы.

Нет, империи не собирались пересоздавать!
Собирались с утра и до ночи трудиться
и
по тому раз в год
бесконечный сей труд
издавать,
также — преподавать и с издателем жестким рядиться.

Не царевичу — Року историк уроки давал,
все сомненья и страхи свои изливая,
и поэтому Ленин его в Октябре издавал
на последней бумаге,
старых матриц не переливая.

ТЕЗКИ

— Александрниколаич
и вы, Александрниколавна,
как вы прожили жизнь? —

Отвечают с улыбкою:

— Славно.

— Были ссоры и драки?

— Нет. Жили мы в дружбе и в мире
и в холодном бараке,
и в коммунальной квартире.

А в отдельной квартире
жили тоже мы в дружбе и в мире.

— Александрниколаич,
чего вы желаете?

Я могу попытаться устроить все то,
что вы пожелаете.

— Я желаю, чтоб выздоровела
Александрниколавна.

Это главное.

— Ну а вы, Александрниколавна,
есть у вас просьба заветная?

— Да, наверное, —

чтобы не волновался на службе
Александр Николаевич, Саша,
и чтоб жизнь продолжалась, по возможности,
долее наша,

и, конечно, чтоб в мире был мир!

Чтобы мир во всем мире!

Чтобы жили все дружно,

как мы в нашей новой квартире!

ОТЕЦ

Я помню отца выключающим свет.
Мы все включали, где нужно,
а он ходил за нами и выключал, где можно,
и бормотал неслышно какие-то соображения
о нашей любви к порядку.

Я помню отца читающим наши письма.
Он их поворачивал под такими углами,
как будто они таили скрытые смыслы.
Они таили всегда одно и то же —
шутейные сентенции типа
«здоровье — главное!».

Здоровые,
мы нагло писали это больному,
верящему свято
в то, что здоровье —
главное.

Нам оставалось шутить не слишком долго.

Я помню отца, дающего нам образование.
Изгнанный из второго класса
церковноприходского училища
за то, что дерзил священнику,
он требовал, чтобы мы кончали
все университеты.

Не было мешка,
который бы он не поднял,
чтобы облегчить нашу ношу.

Я помню, как я приехал,
вызванный телеграммой,
а он лежал в своей куртке —
полувоенного типа —
в гробу — соснового типа, —

и когда его опускали
в могилу — обычного типа,
темную и сырую,
я вспомнил его
выключающим свет по всему дому,
разглядывающим наши письма
и дающим нам образование.

* * *

О, первовпечатленья бытия!
Обвалом света
маленькое «я»
ослеплено
и оползнями шума
оглушено, засыпано.
Ему
приспособляться сразу ко всему
приходится.

О, как неравен бой!
Вся сложность мира борется с тобой,
весь вес,
все время
и пространство света.
Мир так огромен,
так ничтожен ты
меж глубины его и высоты,
но выхода, кроме победы, — нету.

И ГРОМ И МОЛНИЯ

Что значила молния,
перечеркнувшая
весь мой горизонт, кругозор, окоем
и крепкой петлею меня захлестнувшая?
Что значили с молнией мы вдвоем?

Гром, закономерно грянувший после,
я слышал вполуха, как бы отстраня.
Но что означала молния
возле,
в полусантиметре возле меня?

МОЛЧА СМОТРЮ НА СОЛНЦЕ

Поскольку мне достались
только небо и солнце,
я посмотрел на небо,
и я увидел солнце.
Я прежде его не видел.
Я тень предпочитал.
А ныне его увидел
и весь затрепетал.

Огромное преимущество —
молча смотреть на него,
когда никакого имущества
нету, кроме него.
Когда никакого выхода
нету, кроме него, —
огромнейшая выгода —
молча смотреть на него.

ВОЛНОРЕЗ

Волнорезу в океане нечего
обижаться на упрямство волн.
С регулярством
грохота кузнечьего
волны бьются в мол.

Бьют, как хаос осаждает космос,
как историю извечность бьет
или как вневременная косность
просвещенье обстаёт.

Стойкости задумываться нечего,
нечего обдумывать конец.
С регулярством
грохота кузнечьего
волнорез врезает свой резец
в океан.

МУЗЫКА С ПРИБРЕЖНЫХ КОРАБЛЕЙ

Обязательна, всеобща и бесплатна
и народна,
словно школа с обучением восьмилетним,
музыка с прибрежных кораблей.
В знойном воздухе,
в дрожащем, летнем,
так легко, естественно, природно
море с небом склеивает клей
музыки с прибрежных кораблей.
И на солнце оставляет пятна
музыка с прибрежных кораблей.

Всюду она главная стихия,
зняя яростного злей,
и легко пишу стихи я
музыке с прибрежных кораблей.

Но когда, сложив свои пластинки,
и расшнуровав ботинки,
и раздевшись до трусов,
брякнется радист в пружины койки,
музыки — ни капельки, нисколько:
наступает время голосов.

Шепчутся соседние балконы
двух пансионатских корпусов.
Милиционеры про законы
нарушителям напоминают.
Волны гальку с грохотом сминают.
Ворота, как бастионы,
вдруг засовываются на засов.
Наступает время голосов.

Все, что было музыкой подмято, —
море, человек, теплынь, —
вдруг запахло
терпко, словно мята,
мощно, как полынь.

Сквозь обломки доремифасоля
волны пробиваются в песок.
Слабый запах йода или соли
подает неслышно голосок.

НА «ДИКОМ» ПЛЯЖЕ

Безногий мальчишка, калечка,
неполные полчеловечка,
остаток давнишнего взрыва
необезвреженной мины,
величественно, игриво,
торжественно прыгает мимо
с лукавою грацией мима.
И — в море! Бултых с размаху!
И тельце блистает нагое,
прекрасно, как «Голая маха»
у несравненного Гойи.
Он вырос на краешке пляжа
и здесь подорвался — на гальке,
и вот он ныряет и пляшет,
упругий, как хлыст, как нагайка.

Как солнечный зайчик, как пенный,
как белый барашек играет,
и море его оmyвает,
и солнце его обaгряет.
Здесь, в море, любому он равен.

— Плывите, посмотрим, кто дальше! —
Не помнит, что взорван и ранен,
доволен и счастлив без фальши.

О море! Без всякой натуги
ты лечишь все наши недуги.
О море! Без всякой причины
сmyваешь все наши кручины.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

В большом городе,
где мало воздуха
и вовсе нет горизонта,
в огромном доме,
где соседи живут годами,
не знакомясь
и даже не хороня друг друга,

в коммунальной квартире
с расписаниями
звонков на входной двери
и дежурств на кухне,

в одной комнате
живет человек,
выходящий только в ванну и на службу.

Он не засиживается в уборной,
не залеживается в ванне,
не пользуется кухней.
Ему не звонят по телефону.
Соседи забыли его имя-отчество,
но не забыли его фамилии,
дважды повторенной:
в расписаниях
звонков — на входной двери
и дежурств — на кухне.
И только маленькая девочка,
единственная в квартире,
жаждущая общения,
раз в году
говорит ему:
«Первый снег!»

ПОЛУНОЧНОЕ ШОССЕ

В темной трубе ночной дороги
медленной пулей двигаю ноги.
В черном дуле ночного шоссе
передвигаюсь медленной пулей.
Днем шоссе жужжит, как улей.
Ночью шоссе спит, как все.

Звезды — щели в крыше ночи.
Выше крыши — сплошной огонь.
Медленной пулей, что есть мочи,
ногу волочу за ногой.

Ночью на шоссе одиноко,
словно в небесах надо мной.
Отдаленные, как Ориноко,
две медведицы надо мной.

Скорая пуля машины ночной
мимо медленной пули мчится,
и внезапный стих стучится,
словно путник в дом ночной.

* * *

У всех мальчишек круглые лица.
Они вытягиваются с годами.
Луна становится лунной орбитой.

У всех мальчишек жесткие души.
Они размягчаются с годами.
Яблоко становится печеным,
или мороженым,
или тертым.

У всех мальчишек огромные планы.
Они сокращаются с годами.
У кого намного.
У кого немного.
У самых счастливых ни на йоту.

МОЙ ДОЖДЬ, МОЙ ДЕНЬ

Серый день, ни то ни се, обыденное.
Серенький денек, ни то ни се —
сызнава увиденные
закрывают всё.

Под дождем распяленные зонтики
и плащей рои
всю цветистость мира, всю экзотику
закрывают, потому — мои.

Чувства ветхие и древние,
вечные, словно слеза.
Улица моя. Моя деревня.
Город мой. Моя стезя.

Вечные, как век мой, пусть не дольше.
Дольше — ни к чему.
Серый мой денек и частый дождик,
по плащу шумящий моему.

ЖЕЛАНИЕ

Не хочу быть ни дубом, ни утесом,
а хочу быть месяцем маем
в милом зеленеющем Подмосковье.
В дуб ударит молния — и точка.
Распилить его могут на рамы,
а утес — разрубить на блоки.

Что касается месяца мая
в милом зеленеющем Подмосковье,
он всегда возвращается в Подмосковье —
в двенадцать часов ночи
каждое тридцатое апреля.

Никогда не надоесть друг другу —
зеленеющему Подмосковью
и прекрасному месяцу маю.

В мае медленны краткие реки
зеленеющего Подмосковья
и неспешно плывут по теченью
облака с рыбаками,
рыбаки с облаками
и какие-то мелкие рыбки,
характерные для Подмосковья.

ПОДШИВКИ

В офицерском резерве
на бетонном полу
в октября середине
уже ледовитом
мы не спали. Глазели
в законную мглу.
Разоспаться не просто
на пайке половинном!

На рассвете я начал
подшивки листать.
Это осенью было
сорок первого года.
Мне казалось: любые газеты читать,
кроме свежих, —
большая удача и льгота.

Прошлогоднее лето
метнулось ко мне.
Немцы лезут на Францию.
Бельгия пала.
В странной,
как мы тогда говорили, войне
странность кончилась,
вышла, исчезла, пропала.

Что же странного?
Сильный ликует и бьет.
Что же странного?
Слабый схватил свою чашу.
И пригубил. И сморщился.
Все-таки пьет.
Пьет. Захлебывается чаще и чаще.

Танки лезут на Францию.

Танкам легко.

Полистаю подшивку —
найду их в Париже.

Далеко эта Франция?

Да, далеко.

Далеки эти танки?

Все ближе и ближе.

Скоро кончим резервное наше житье.

Скоро кончится наш интервал, промежуток.

И, захлопнув подшивку, я лег на нее
и заснул.

И проспал до полудня, полсуток.

КАК РАСТАСКИВАЕТСЯ ПРОБКА?

Регулировщица робко
матерится недавно усвоенным матом.
Что ей противопоставить громадам
танков,

колоссам самоходок?

Шофера, сквозь дым самокруток,
оживленно толкуют о прошлых походах,
о былых маршрутах.

Потому что образовалась такая
пробка,

такое столпотворенье,
как будто пробочная мастерская
сама варила это варенье.

Все глядят на небо. Оно — голубое.

Оно даже синее.

Но в любое

мгновенье

кресты самолетов вышьет,

потом фугасками забросает.

В пробке не так уж просто выжить.

А пробка бытом уже обрастает.

Уже познакомились и посмеялись.

Уже возникает общественность в пробке.

Уже заменяют улыбкой ярость.

Торятся к регулировщице тропки.

И вдруг — полковник!

Взмыленный «виллис»

подскакивает на рысях

туда, куда мы сучились, сбились,

буксуя на нулевых скоростях.

СКАНДАЛ СОРОК ШЕСТОГО ГОДА

— Где же вы были в годы войны?
Что же вы делали в эти годы?
Как вы использовали бронь и льготы,
ах, вы, сукины вы сыны!

В годы войны, когда в деревнях
ни одного мужика не осталось,
как вам елось, пилось, питалось?
Как вы использовали свой верняк?

В годы войны, когда отпусков
фронтовикам не полагалось,
вы входили без пропусков
в женскую жалость, боль и усталость.

В годы войны, а тех годов
было, без небольшого, четыре,
что же вы делали в теплой квартире?
Всех вас передуть готов!

— Наша квартира была холодна.
Правда, мы там никогда не бывали.
Мы по цехам у станков ночевали.
Дорого нам доставалась война.

ПОСЛЕВОЕННОЕ БЕСПТИЧЬЕ

Оттрепетали те тетерева,
перепелов война испепелила.
Безгласные, немые деревá
в лесах от Сталинграда до Берлина.

В щелях, в окопах выжил человек,
зверье в своих берлогах уцелело,
а птицы все ушли куда-то вверх,
куда-то вправо и куда-то влево.

И лиственные не гласят леса,
и хвойные не рассуждают боры.
Пронзительные птичьи голоса
умолкли.
Смолкли птичьи разговоры.

И этого уже нельзя терпеть.
Бесптичье это хуже казни.
О, если соловей не в силах петь —
ты, сойка, крикни
или, ворон, каркни!

И вдруг какой-то редкостный и робостный,
какой-то радостный,
забытый много лет назад звукочок:
какой-то «чок»,
какой-то «чок-чок-чок».

ФОТОГРАФИИ МОИХ ДРУЗЕЙ

Фотографии стоили денег
и по тем временам — больших.
При тогдашних моих убеждениях,
фотографии — роскошь и шик.

Кто там думал тогда, что сроки,
нам отпущенные, — невелики.
Шли с утра до вечера строки,
надо было сгребать в стихи.

Только для паспортов —
базарным
кустарем
запечатлены,
мы разъехались по казармам,
а потом по фронтам войны.

Лучше я глаза закрою,
и друзья зашумят навзрыд,
и счастливым взглядом героя
каждый
память мою
одарит.

ГЛАЗА ДЕТЕЙ

От Старой Руссы и до старой Рузы
по школам дети маленькие русы.

От Волочка и до Волоколамска
глаза их синие сияют лаской.

Теплей тепла и ледяней ледыни
блестят глаза в Мезени и Медыни.

Как радуга над Ладогой блистает,
когда ребята Пушкина листают.

Как им, наверно, весело и славно
на всем скаку перегонять Руслана.

ВАРШАВЯНКИ

Были площади все изувечены.
Все дома не дождалось пощад.
Но великие польские женщины
шли по городу в белых плащах.

В белых-белых плащах фирмы «Дружба»,
в одинаковых, недорогих.
Красоты величаява служба
заработала раньше других.

Среди мусора, праха, крапивы,
в той столице, разрушенной той,
были женщины странно красивы
невзрываеомй красотой.

Были профили выбиты четко,
а движения дивно легки.
Серебрились цветнопрически,
золотели цветночулки.

И белее, чем белое облако,
ярче, чем городские огни,
предвещаньем грядущего облика
той столицы
летели они.

Пролетали, земли не касаясь,
проходили сквозь мрак натошак
сонмы грустных и грозных красавиц
в одинаковых белых плащах.

МОЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Девяносто четвертая полная средняя!
Чем же полная?
Тысячью учеников.
Чем же средняя, если такие прозрения
в ней таились, быть может, для долгих веков!

Мы — ребята рабочей окраины Харькова,
дети наших отцов,
слесарей, продавцов,
дети наших усталых и хмурых отцов,
в этой школе учились
и множество всякого
услышали, познали, увидели в ней.
На уроках,
а также и на переменах
рассуждали о сдвигах и о переменах
и решали,
что совестливей и верней.

Долгий голод — в начале тридцатых годов,
грозы, те, что поздней над страной разразились,
стойкости
перед лицом голодов
обучили,
в сознании отразились.

Позабыта вся алгебра — вся до нуля,
геометрия — вся, до угла — позабыта,
но политика нас проняла, доняла,
совесть —
в сердце стальными гвоздями забита.

ЛЕНКА С ДУНЬКОЙ

Ленка с Дунькой бранятся у нас во дворе,
оглашают позорные слухи,
как бранились когда-то при нас, детворе,
но теперь они обе старухи.

Ленка Дуньку корит. Что она говорит,
что она утверждает, Елена
Тимофеевна, трудовой инвалид,
ревматизмом разбиты колена?

То, что мужу была Евдокия верна,
никогда ему не изменяла,
точно знала Елена. Какого ж рожна
брань такую она применяла?

Я их помню молоденькими, в двадцать лет,
бус и лент перманент, фигли-мигли.
Денег нет у обеих, мужей тоже нет.
Оба мужа на фронте погибли.

И поэтому Ленка, седая как лунь,
Дуньку, тоже седую, ругает,
и я, тоже седой, говорю Ленке: «Плюнь,
на-ко, выпей — берет, помогает!»

ТРИ СТОЛИЦЫ
(Харьков—Париж—Рим)

Совершенно изолированно от двора, от семьи
и от школы

у меня были позиции свои
во французской революции.
Я в Конвенте заседал. Я речи
беспощадные произносил.
Я голосовал за казнь Людовика
и за казнь его жены,
был убит Шарлоттою Корде
в никогда не виденной мною ванне.

(В Харькове мы мылись только в бане.)

В 1929 в Харькове на Конной площади
проживал формально я. Фактически —
в 1789

на окраине Парижа.

Улицы сейчас, пожалуй, не припомню.

Разница в сто сорок лет, в две тысячи
километров — не была заметна.

Я ведь не смотрел, что ел, что пил,
что недоедал, недопивал.

Отбывая срок в реальности,
каждый вечер совершал побег,
каждый вечер засыпал в Париже.

В тех немногих случаях, когда
я заглядывал в газеты,

Харьков мне казался удивительно
параллельным милому Парижу:

город — городу,

голод — голоду,

пафос — пафосу,

а тридцать третий год

моего двадцатого столетья —

девяносто третьему

моего столетья восемнадцатого.
Сверив призрачность реальности
с реализмом призраков истории,
торопливо выхлебавши хлёбово,
содрогаясь: что там с Робеспьером?
Я хватал родимый том. Стремглав
падал на диван и окунался
в Сену.

И сквозь волны
видел парня,
яростно листавшего Плутарха,
чтоб найти у римлян ту Республику,
ту же самую республику,
в точности такую же республику,
как в неведомом,
невиданном, неслыханном,
как в невообразимом Харькове.

* * *

Старшему товарищу и другу
окажу последнюю услугу.

Помогу последнее сражение
навязать и снова победить:
похороны в средство устрашения,
в средство пропаганды обратить.

Похороны хитрые рассчитаны,
как времянка, ровно от и до.
Речи торопливые зачитаны,
словно не о том и не про то.

Помогу ему времянку в вечность,
безвременье — в бесконечность
превратить и врезаться в умы.
Кто же, как не я и он, не мы?

Мне бы лучше отойти в сторонку.
Не могу. Проворно и торопко
сучусь, мечусь
и его, уже посмертным, светом
я свечусь при этом,
может быть, в последний раз свечусь.

НЕ ОБОЙДИ!

Заняв на двух тележках перекресток
и расстелив

один на двух платок,
они кричали всем здоровым просто:
— Не обойди, браток!

Всем
на своих двоих с войны пришедшим,
всем
транспорт для себя иной нашедшим,
чем этот, на подшипниках, каток,
орали так:
— Не обойди, браток!

Всем, кто пешком ходил, пускай с клюкою,
пускай на костылях, но ковылял,
пусть хоть на миг, но не давал покою
тот крик
и настроенье отравлял.

А мы не обходили, подходили,
роняли мятые рубли в платок.
Потом, стыдась и мучась, отходили.
— Спасибо, что не обошел, браток.

В то лето засуха сожгла дожди
и в закромах была одна полова,
но инвалидам пригодилось слово:
— Не обойди!

КРАСАВИЦА

В середине четвертого года войны
снятся юношам сексуальные сны,
а батальные сны снятся тоже, но реже.
Сквозь проломы в солдатчине, щели и бреши
что-то лучшее мы уже видеть должны.

К середине четвертого года
отъелись,
притерпелись и вроде бы приоделись,
подтянулись! И к счастью каждый воин готов.
Молодые! Ну с чем-нибудь двадцать годов.

На обочине фронтового шоссе,
в городишке балканском, где женщины все
нам казались прекрасными, где почему-то
отпустила война от себя на минуту —

в городишке, где столь переулки узки,
что военные тягостные грузовики
меж домов не проходят
и пешком
все по крученым улицам ходят, —

проживала красавица в том сентябре.
Проживала
и вечером проходила
мимо нашего дома
и тихо светила,
не паля,
словно солнышко на заре.

Прекращалось делопроизводство в штабах.
Перекуры в частях боевых нарушались.
Табакуры и те, позабыв про табак,
отойти от окна и на миг не решались.

Мы не знали,
 как звали ее,
 и лица
не припомню — в волнах утонуло летейских.
Не нашлось лихача, удальца, мудреца,
чтобы к ней — познакомиться — разлететься.

Проходила. И четко очерченный рот
освещался улыбкой, как молнией небо.
А потом нашу часть отозвали на фронт,
и с тех пор я ни разу в том городе не был.

УДОБСТВА

На земле и на голых досках,
на снегу засыпал — хоть бы хны!
Даже видел цветные сны!
Но теперь мне нужны удобства.

Но теперь мне нужен комфорт!
Я хочу, чтоб отдельной квартиры
мне на целую жизнь хватило,
потому что я — старый черт.

Вот когда я был молодой —
что поесть, где поспать — все едино.
А теперь не считаю седины,
потому что весь я — седой.

Я уже отыграл свою роль.
Я домой иду со спектакля
и поэтому, что ли, не так ли,
ощущаю холод и боль.

Прежде не ощущал никогда
и впервые теперь ощущаю
и поэтому защищаю,
плоть свою
от тебя, беда.

МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ

Рубахи из чертовой кожи!
Штаны, как у сатаны! —
Ежели вы помоложе,
необходимы, нужны.
Сквозь проволоку, колючку!
По азимуту, напрямик!
И каждая закорючка
за то, что не любишь кривых,
цепляет, не пускает:
сиди на месте, не лезь!
По ниточке растаскает,
по щепочке вырубит лес.

А старость любит шубы,
построенные навсегда,
и чтоб никакого шума,
если горе-беда.
Надеялись, а не ждали!
Теперь без надежды ждем.
Приблизились наши дали:
они под косым дождем.
Он косит, косит, косит.
Он яр, усерден, лих
и новостей не приносит,
кроме самых плохих.

ДОСРОЧНИК

Скоро высох, как дождь на асфальте.
Быстро выдохся — как пожилой.
Вы его не колите, не жальте.
Ты его прости, пожалей.
Применился, перековался,
опочил на птичьих правах
и притерся к тем, с кем сражался,
притерпелся к ним и привык.

И досрочная старость — не крови
и не сердца. Старость души.
Серебрить не успевшая брови,
серебрила его падежи,
сединай награждала ритмы
и тупила его слова,
прежде — резкие, словно бритва,
ныне — вислые, как рукава.
Словно чашку, его раскокали,
разбазарили зазря.
Язык его — как у колокола
запечатанного монастыря.

ШУБА

Последнюю в жизни шубу строит пенсионер:
сукно должно проноситься лет восемь — десять,
но в том, что она последняя, вовсе нету боли:
устал в нем каждый мускул, обиделся каждый нерв.

Зазря, за так, задаром пенсию не дают.
Решенные им задачи, его большие удачи
заслуживают, конечно, клубники, розария, дачи,
сверчков за русскою печью, горланящих про уют.

Вот он ходит по горницам, в каждой тушит свет.
Вот экономит энергию, ту, что еще осталась.
Часто его бессонница лично встречает рассвет,
словно чужую юность встречает личная старость.

Вот он перечитывает роман «Война и мир».
Сорок лет собирался, нынче выбралось время
и вспомнать про войны, и поглядеть на мир,
донашивать это сладостное, томительное бремя.

Носи свою шубу долго, радуйся, думай, живи,
воспитывай клубнику, внучатам читай Крылова,
выписывай все журналы и добирай из любви
все то, что недополучено, и
это доброе слово.

НЕ ВЫБРАЛ ВРЕМЕНИ

Почти столетний Розанов
Иван Никанорыч
сказал мне: — Будет поздно
зайти через неделю.
Я жду вас только завтра,
не позже послезавтра.
Ну что вам стоит, собственно,
зашли бы, посидели.

Ивану Никанорычу
в тот вечер оставалось
пять-шесть деньков, не более.
Он это разумел.
И тихим голосочком
он зазывал настойчиво
и долгую беседу
мне обещал взамен.

Что в целодневном хлопоте
пропустите, прохлопаете,
что вы просуетите
в обычной суетне, —
ни шепотом, ни ропотом
восстановить не пробуйте.
Через неделю: умер —
вдруг позвонили мне.

Хвалил бы меня Розанов?
Хулил бы меня Розанов?
А может, он бы попросту
чайком поил меня?
И были мне рассказывал,
и книги мне раскладывал,
по полутемной комнате
тихонько семеня?

НАЧИНАЕТСЯ...

Кончилось мое пока.
Началось мое совсем.
Крепкий запах табака
в каждом уголке осел.

Кончилось мое еще.
Началось мое уже.
Как мое уже — тощѣ
на последнем рубеже.

Все начала кончил я.
Начинается конец.
Он тяжелый, как свинец,
но правдивый. Без вранья.

ПОВЕРКА

Человек поверяется холодом или жарой
в сорок градусов выше и ниже нуля,
и еще —
 облепляющей весь горизонт мошкаррой,
и еще —
 духотой,
 бездушной, словно петля.

Закипает
 и превращается в пар,
загорается
 и превращается в дым
ваша стойкость.
 А тот, кто упал, — пропал,
и поэтому лучше быть молодым.

Двадцать градусов лишних он выдержит —
 не пропадет.
До костей он промокнет,
 но всё — не до самых костей.

А сгоревши дотла,
он восстанет из пепла, пойдет
и гостей позовет!
Напоит и накормит гостей!

Лучше быть молодым!
Все, кто может, — спасайся, беги
в край,
где легкая юность чеканит шаги!

МЕТОД

Мир абстракций, тот, что рядом, рядом
жил со мной, глядел туманным взглядом,
никогда не посещался мной,
был невыездной страной.

Что мне делать в этом странном мире?
Обобщения легки, как дым,
не оттянут мышцы, словно гири.
Предоставим это молодым.

Факты накапливались и скоплялись,
друг за дружку иногда цеплялись,
тлели в кучах прелою листвою,
палой, прелой, но еще живой.

Я их не выстраивал в системы,
этих не соединял я с теми.
Я не разворачивал навал
и концепций в нем не узнавал.

Что там ни толкуй ученый олух,
я анатом, а не физиолог.
Не геолог я — промысловик.
Обобщать я вовсе не привык.

Просто думаю, отнюдь не мыслю,
и подсчитываю, а не числю
и с древнеславянским языком
даже в кратком курсе незнаком.

Фактовик, натуралист, эмпирик,
а не беспардонный лирик!
Малое знаточество свое
не сменяю на вранье.

* * *

Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей,
рыжих, тонущих в океане.

Ничего не осталось — ни строк, ни идей,
только лошади, тонущие в океане.

Я их выдумал летом, в большую жару:
масть, судьбу и безвинное горе.

Но они переплыли и выдумку и игру
и приплыли в синее море.

Мне поэтому кажется иногда:

я плыву рядом с ними, волну рассекаю,
я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,
лошадиная и людская.

И покуда плывут — вместе с ними и я на плаву:
для забвения нету причины,
но мгновения лишнего не проживу
когда канут в пучину.

* * *

Пограмотней меня и покультурней!
Ваш мозг — моей яснее головы!
Но вы не становились на котурны,
на цыпочки не поднимались вы!

А я — пусть на ходулях — дотянулся,
взглянуть сумел поверх житья-бытья.
Был в преисподней и домой вернулся.
Вы — слушайте!
Рассказываю — я.

* * *

Самые лучшие люди из тех, что я знал, не хотели самые лучшие книги из тех, что я знал, раскрывать, не разбирались в гуаши, а что до пастели, думали: это кровать.

Первый мной встреченный гений был писарем роты. Быстро, как будто планета Земля обороты, он совершал осмысленье планеты Земли. Вскоре — его перевели.

Самые лучшие люди — самые занятые. Это, наверное, были солдаты простые. Чем занятые? Им надо творить чудеса каждые полчаса.

Им достается не рукопись — только машинопись. Скоропись духа — искусство — им не разобрать. Живопись им непонятна, как клинопись. Песни — любили орать.

Вот отоспятся, отстроются и наедятся — и на искусство, как следует, наглядятся.

БОЛЬ В ГЛАЗАХ

Всю-то жизнь я читал. За это
получаю, как всякий любой,
резь в глазах — как от сильного света,
как от света прожектора — боль.

За все листанные газеты,
что домой ворохами я нес,
резь в глазах, как от сильного света,
боль до слез.

За текущую макулатуру, —
нет того, чтобы мимо текла, —
за все читанное мною сдуру
боль зеницы мои свела.

Сколько книг человеку нужно?
Семь книг?
Шесть книг?
Пять книг?
Жизнь и год-полтора еще нужно,
чтоб во всем разобраться в них.

Я теперь на руках их держу,
поразмышлю,
вдумчиво взвешивая,
а потом:
— Извините, — скажу.
Сдержанно скажу.
Вежливо.

СТАРЫЕ РИФМЫ

Хорошая рифма, словно старинное,
сто раз проигранное: «мглу-углу»,
хорошая,

 пусть слышанная сторицею,
опять пластинкой идет под иглу:
все круги ее кружения,
все биения ее часов,
все пузыри ее брожения,
эхо всех ее голосов!

Рифмы, поддержанные двумя веками
русской поэзии, — ее труды.
Рифмы, истоптанные — половиками!
Рифмы, цветущие — сады!

Не снятые с вооружения, как штык,
хранимый на случай рукопашной схватки,
едва ощутимые, как рельсовый стык,
незабываемые, как родовые схватки!

Нет,
не случайно,
не даром,
не просто
первыми в голову приходят они же —
рифмы человеческого роста,
не выше,
не ниже.

Немало книг успею издать,
преодолею мели и рифы.
О, если бы мне удалось создать
одну
новую
старую
рифму!

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ

На словопрении обычном и привычном, послушав речи и окутав плечи какой-то оренбургскою рваниною, ко мне нагнулась, шатнулась, устремилась, ко мне метнулась Ксения Некрасова и громким, истовым, распевным шепотом сказала:

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ!

Я огляделся. Более того. Я щелкнул выключателем сознания, заведующим звуками. Все стихло. Бесшумно шевелившиеся губы оратора сложились в язвительную, горькую, лихую и благородную усмешку. Какие взгляды он метал! В Сенате — римляне, в Ареопаге — афиняне, в Конвенте — робеспьеристы метали менее значительные взгляды. Действительно:

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ!

Какие лбы! Какие подбородки! Хладеющая лава оскорбленности. Обвал эмоций. Водопад счастливости. Кардиограмма чувств и мыслей. Карта, притом рельефная, их жизни в искусстве. Как не сказать:

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ!

Единственный же способ восстановить пропорции — щелчок того же выключателя — включенье звука. Пускай заговорят! Пусть почитают, что написали. Пусть проскандируют свои удачи. Пусть заглушат недоработки. Да, в самом деле: дайте новгородцу поголосить на вече. Дайте якобинцу вотировать какую-нибудь казнь. Пусть римлянин уста отверзнет и крикнет что-нибудь. И мы решим по справедливости: такие или не такие, а если не такие, то —

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ?

ЯМБЫ

Приступим к нашим ямбам,
уложенным в квадратики,
придуманным, быть может,
еще в начале Аттики,
мужские рифмы с женскими
пережевать начнем,
весы или качели — качнем?
Качнем!

Все, что до нас придумано,
все, что за нас придумано,
продумано прекрасно,
менять — напрасно.
Прибавим, если сможем,
хоть что-нибудь свое,
а убавлять отложим,
без ямбов — не житье.

Нет, не житье без ямбов,
стариннейших иамбов,
и я не пожалею
для ямбов дифирамбов.
От шага ли, от взмаха?
Откуль они?
Не вем.
Не дам я с ними маху,
вовек не надоем.

От выдоха ли, вдоха?
От маятника, что ли?
Но только с ямбом воля,
как будто в Диком Поле,
когда, до капли вылит,
дождем с небес лечу,
лечу, лечу навывлет
и знаю, что хочу.

ХОРОШО!

Хорошо было уезжать.
Хорошо было приезжать.
Хорошо было просто ездить —
хоть на север, а хоть на юг,
в одиночку или сам-друг
и с большой компанией вместе.

Расчудесный дождь — обложной
вдруг сменял распрекрасный зной,
или было просто прохладно.
На другой же день, с утра —
замечательная жара
воцарялась ловко и ладно.

Хорошо было. Хорошо!
Если было не хорошо,
значит, просто отлично было.
Почему? Потому что был
молод, юн. До сих пор не забыл
я пылания этого пыла.

* * *

Начинается давность для зла и добра,
и романы становятся историческими романами,
и седины из подлинного серебра
нависают над косметическими румянами.
Время воспоминаний пришло и ушло.
Начинается памяти время.
И в плечах ощущается,
словно крыло о крыло,
это нетяготящее
и блестящее
бремя.

СОВЕТСКАЯ СТАРИНА

Советская старина. Беспризорники. Общество
«Друг детей»,
общество эсперантистов. Всякие прочие общества.
Затеиванье затейников и затейливейших затей.
Все мчится и все клубится. И ничего не топчется.

Античность нашей истории. Осоавиахим.
Пожар мировой революции,
горящий в отсвете алом.
Все это, возможно, было скудным или сухим.
Все это, несомненно, было тогда небывалым.

Мы были опытным полем. Мы росли, как могли.
Старались. Не подводили мичуриных социальных.
А те, кто не собирались высовываться из земли,
те шли по линии органов, особых и специальных.

Все это Древней Греции уже гораздо древней
и в духе Древнего Рима векам подает примеры.
Античность нашей истории! А я — пионером в ней.
Мы все были пионеры.

* * *

Покорение поколения,
нет, скорее — успокоение.
Поначалу оно беспокоилось,
а потом оно успокоилось.
Как же стало и что случилось,
как стряслось, что все утряслось,
а ведь как пылало, лучилось,
говорили, что даже жглось.
Кулаком на них настучали
по казенному по столу
и кричащие — замолчали,
приумолкли в своем углу.
Стало тихо, стало глухо
и — ни шороха, ни слуха.

* * *

Хватило на мой век,
клонящийся к упадку,
и — мордою об стол!
и — кулаком в сопатку!

И взорванных мостов,
и заметенных вех,
и снятия с постов
хватило на мой век.

Я думал — с детством
кончится беда.
Оказывается,
что она — всегда.

Давно на вороту
лихая брань повисла,
и выбитых во рту
зубов
считать нет смысла.

Расчетов и боев,
просчетов и помех,
всего, кроме надежд,
хватило на мой век.

* * *

Мировая мечта, что кружила нам голову,
например, в виде негра, почти полуголого,
что читал бы кириллицу не по слогам,
а прочитанное землякам излагал.

Мировая мечта, мировая тщета,
высота ее взлета, затем нищета
ее долгого, как монастырское бдение,
и медлительного падения.

* * *

Бог был терпелив, а коллектив
требователен, беспощаден
и считался солнцем, пятен,
впрочем, на себе не выводив.

Бог был перегружен и устал.
Что ему все эти пятна.
Коллектив взошел на пьедестал
только что; ему было приятно.

Бог был грустен. Коллектив — ретив.
Богу было ясно: все неясно.
Коллектив считал, что неопасно,
взносы и налоги заплатив,
ввязываться в божьи дела.
Самая пора пришла.

Бог, конечно, мог предотвратить,
то ли в шутку превратить,
то ли носом воротить,
то ли просто запретить.

Видно, он подумал: поглядим,
как вы сами, без меня, и в общем
устранился бог,
пока мы ропщем,
глядя,
как мы в бездну полетим.

* * *

Несподручно писать дневники.
Разговоры записывать страшно.
Не останется — и ни строки.
Впрочем, это неважно.

Верно, музыкой передадут
воплъ одухотворенного праха,
как был мир просквожен и продут
бурей страха.

Выдувало сначала из книг,
а потом из заветной тетради
все, что было и не было в них,
страха ради.

Задувало за Обь, за Иртыш,
а потом и за Лету за реку.
Задавала пиры свои тишь
говорливому веку.

Задевало бесшумным крылом.
Свеивало, словно полову.
Несомненно, что сей миролом —
музыке, а не слову.

* * *

За три факта, за три анекдота
вынут пулеметчика из дота,
вытащат, рассудят и засудят.
Это было, это есть и будет.

За три анекдота, за три факта
с применением разума и такта,
с применением чувства и закона
уберут его из батальона.

За три анекдота, факта за три
никогда ему не видеть завтра.
Он теперь не сеет и не пашет,
анекдот четвертый не расскажет.

Я когда-то думал все уладить,
целый мир облагородить,
трибуналы навсегда отвадить
за три факта человека гробить.

Я теперь мечтаю, как о пире
духа,
 чтобы меньше убивали.
Чтобы не за три, а за четыре
анекдота
 со свету сживали.

* * *

Покуда еще презирает Курбского,
Ивана же Грозного славит семья
историков
 с беспардонностью курского,
не знающего,
 что поет,
 СОЛОВЬЯ.

На уровне либретто оперного,
а также для народа опиума
история, все ее тома:
она унижает себя сама.

История начинается с давностью,
с падением страха перед клюкой
Ивана Грозного
 и полной сданностью
его наследия в амбар глухой,
в темный подвал, где заперт Малюта,
а также опричная метла —
и, как уцененная валюта,
сактированы и сожжены дотла.

ВОСТОЧНЫЕ МУДРЕЦЫ И ВОСТОЧНЫЕ УМНИКИ

Преуспевали восточные мудрецы.
Везде попевали восточные мудрецы.
Покуда восточного умника били нещадно,
сие воспевали восточные мудрецы.

А умник восточный лечил изувеченный зад,
избитый толково, и тщательно, и жестоко,
и думал тихонько про то мировое «Назад»,
которое совпадало с понятием Востока.

Восточная мудрость легко обошлась без ума,
легко обошла его жесткие правила,
и вечное лето, суровое, как зима,
Востоком жестоко и солнечно правило.

И вечная Лета, нирвана, как там говорят,
арык тепловатый, с проточной водой грязноватой,
омыла Восток, все грязные ноги подряд,
и рваным халатом, подбитым просаленной ватой,
укрылся Восток.

* * *

Богатому кажется: бедному проше.
Живому кажется: мертвому легче.
А бедный и мертвый голы и босы,
и тонны земли давят на плечи.

Они завидуют богатым,
которые завидуют бедным.

Эта самая зависть
вызывает такую ненависть,
что даже камень на братской могиле
приподнимается, словно дышит.

* * *

В революцию, типа русской,
лейтенантам, типа Шмидта,
совершенно незачем лезть:
не выдерживают нагрузки,
словно известняк — динамита,
их порядочность, совесть, честь.

Не выдерживают разрыва,
то ли честь, то ли лейтенанты,
чаще лейтенанты, чем честь.
Все у них то косо, то криво,
и поэтому им не надо,
совершенно не надо лезть.

Революциям русского типа,
то есть типа гражданской войны
вовсе не такие типы,
не такие типы нужны,
совершенно другие типы
революции русской нужны.

* * *

То ли мята,
то ли рута,
но примята
очень круто.

Словно тракторные
траки
перетаптывали
травки,

а катками
паровыми
их толкали
и давили.

Скоро ли она воспрянет,
глину сохлую проклюнет,
и зеленым глазом глянет,
и на все, что было, — плюнет?

ПРАВОТА

— Сшибу и буду прав! —
мне заявил шофер,
своих законных прав
ценитель с давних пор.

Обязанности не
ценил настолько он.
— Сшибу! — сказал он мне. —
И за меня закон!

— Сшибу, — сказал, — собою,
не буду отвечать! —
И правоту свою
стал кожей излучать,

глазами испускать,
цедить через уста.
— Тащить и не пущать! —
орала правота,

серчала: осадил!
кричала: я ваш бог!
А на ее груди
значок был: голубок.

* * *

Жестокие пословицы Руси, —
чем объяснить их гнев и скрежетанье?
Их выдумали, верно, караси
на сковородке, караси в сметане.

Их выдумали, верно, палачи
усталые после работы алой.
Пословицы послушай и молчи —
ты тоже от всего того усталый.

* * *

— Люди! Любите друг друга! —
сказано было давно.
Люди не любят друг друга.
Им — все равно.
Или любят только
собственную семью,
или свою деревню,
или работу свою.
Не получился, не вышел
эксперимент «любовь»,
вскоре, наверно, поставят
новый, другой, любой.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОБЪЕМА

Все десятилетия — великие.
Как ни кинешь — всюду рост, подъем.
Может быть, последняя религия,
где поклоны бьем тебе,
объем.

Может быть, покрепче католичества,
православия правей, славней
та,
увеличения количества
возгласившая,
и все, что в ней:

космос без небес, но с бесконечностью.
Миллионов, миллиардов вал
и навал нулей. Конечно,
также единиц навал.

Как просторны храмы у объема!
Как безлики лики у него!
Как похоже Всё на Ничего!
Лучше уж в пределах окоема.

* * *

История утомила природу,
надоела, осточертела.
Что-то новое захотело
наше небесное тело,
что-то небывалого рода,
неописанного жанра,
но горячее, с пылу с жару,
пусть пропущенное в анналах,
но замеченное в каналах
Марса или владениях лунных.
Это интересует юных,
молодых, а также зрелых,
пожилых, а также старых.
Что-то вроде небесных тарелок,
в мировых летящих пожарах.
А история — утомила:
ее войны, перевороты, —
видно, человечество било
слишком часто в свои ворота.

ЕВГЕНИЙ

С точки зрения Медного Всадника
и его державных копыт
этот бедный Ванька-Невстанька
впечатленья решил копить.

Как он был остер и толков!
Все же данные личного опыта
поверял с точки зрения топота,
уточнял с позиций подков.

Что там Рок с родной стороною
ни выделявал, ни вытворял —
головою, а также спиною
понимал он и одобрял.

С точки зрения Всадника Медного,
что поставлен был так высоко,
было долго не видно бедного,
долго было ему нелегко.

Сколько было пытано, бито!
Чаще всех почему-то в него
государственное копыто
било.
Он кряхтел, ничего.

Ничего! Утряслось, обошлось,
отвиселось, образовалось.
Только вспомнили совесть и жалость —
для Евгения место нашлось.

Медный Всадник, спешенный вскоре,
потрошенный Левнафан,
вдруг почувствовал: это горе
искренне. Хоть горящий пьян.

Пьян и груб. Шумит. Озорует.
Но не помнит бывалых обид,
а горюет, горюет, горюет
и скорбит, скорбит, скорбит.

Вечерами в пивной соседней
этот бедный
и этот Медный,
несмотря на различный объем,
за столом восседают вдвоем.

Несмотря на судеб различность,
хвалят культ
и хвалят личность.
Вопреки всему,
несмотря
ни на что
говорят: «Не зря!»

О порядке и дисциплине
Медный Всадник уже не скорбит.
Смотрит на отпечаток в глине
человеческой
медных копыт.

* * *

Горлопанили горлопаны,
голосили свои лозунга́, —
а потом куда-то пропали,
словно их замела пурга.

Кой-кого замела пурга,
кое-кто, спавши с голоса вскоре,
ухватив кусок пирога,
не участвует больше в споре.

Молчаливо пирог жует
в том углу, где пенсионеры.
Иногда кричит: «Во дает!» —
горлопанам новейшей эры.

ОБЕ СТОРОНЫ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

Все выходят на пенсию — обе стороны, эта и та,
и вопросы на следствии, и ответы на следствии,
и подводится жирная окончательная черта
стародавнего бедствия,
постарения общего вследствие.

У обеих сторон уже нету зубов —
и у той, где повыпали,
и у той, где повыбили.
Обе стороны в вихре обычных забот
продвигаются в сторону естественной гибели.

По ту сторону зла и, конечно, добра,
по ту сторону ненависти, равно как и совести,
обе стороны движутся. Кончилось время, пора:
постарели они и давно одряхлели их новости.

Настоящее брезгует прошлым своим,
а грядущее с полнок
покуда
его не снимает,
и последние тайны, которые глухо таим,
никого уже более
и покамест еще
не занимают.

* * *

Половина лавины
прорвалась сквозь огонь,
а еще половина
не ушла от погонь.

Камнепадом забита
и дождем залита,
половина забыта,
непрошедшая, та.

А прошедшая лава
получает сполна.
Ей и счастье и слава,
а другим — ни хрена.

ОШИБКИ ГЕГЕЛЯ

Нас выучили философии,
но философствовать не дали.
Себя и нас не согласовывая,
шли годы, проносились дали.

И грамотны, и политграмотны,
ошибки Гегеля в подробности
сдав в соответствии с программами,
мы задыхаемся от робости.

Мы как Сократ. Мы точно знаем,
что ничего почти не знаем.

Миры шагами перемеря
в затылок впереди пошедшим,
мы словно Пушкин перед смертью
«Друзья, прощайте!» книгам шепчем.

А Гегель, нами упорядоченный,
конспектный Гегель и тетрадоочный,
свои ошибки осознавший
и прогнанный немедля взащей,

а Гегель, изданный и купленный
и листаный, но не прочитанный,
с небес, с верхушки самой купола,
нам улыбается значительно.

* * *

Знак был твердый у этого времени.
Потому, облегчившись от бремени
ижицы и фиты,
твердый знак оно сохранило
и грамматика не обронила
знак суровости и прямоты.

И грамматика не утерьяла,
и мораль не отбросит никак
из тяжелого материала
на века сработанный знак.

Признавая все это, однако
в барабан не желаю бряцать,
преимущества мягкого знака
не хочу отрицать.

НАЗВАНИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

Все парки культуры и отдыха
были имени Горького,
хотя он был известен
не тем, что плясал и пел,
а тем, что видел в жизни
немало плохого и горького
и вместе со всем народом
боролся или терпел.

А все каналы имени
были товарища Сталина,
и в этом смысле лучшего
названия не сыскать,
поскольку именно Сталиным
задача была поставлена,
чтоб всю нашу старую землю
каналами перекопать.

Фамилии прочих гениев
встречались тоже, но редко.
Метро — Кагановича именем
было наречено.
То пушкинская, то чеховская,
то даже толстовская метка
то школу, то улицу метили,
то площадь, а то — кино.

А переименование —
падение знаменовало.
Недостоверное имя
школа носить не могла.
С грохотом, равным грохоту
горного, что ли, обвала,

обрушивалась табличка
с уличного угла.

Имя падало с грохотом
и забывалось не скоро,
хотя позабыть немедля
обязывал нас закон.

Оно звучало в памяти,
как эхо давнего спора,
и кто его знает, кончен
или не кончен он?

* * *

Строго было,
но с нами иначе нельзя.
Был порядок,
а с нами нельзя без порядка.
Потому что такая уж наша стезя,
не играть же нам с горькою правдою в прятки.

С вами тоже иначе нельзя. И когда
счет двойной бухгалтерии господ бога
переменит значения: счастье — беда, —
будет также и с вами поступлено строго.

* * *

— Руки у Венеры обломаем,
мраморной — ей руки ни к чему.
Молотком пройдемся по эмалям.
Первый, если надо, — я начну.

Сколько глоток этот крик кричали,
сколько помогало им кричать.
Начали с Венерой.

Раскачали.

Не решились сбрасывать. Кончать.

То, что эта женщина без рук,
значит, что, во-первых, их отбили,
во-вторых, что все же люди были
и опамятовались вдруг.

* * *

Последний был в отмену предпоследних.
Приказ приказывал не исполнять приказ
и трактовал о нем не выше, чем о сплетнях
из области штабных проказ.

С командной грациозностью шутил
приказ и применял гримасы стиля
над скудоумием штабных светил,
которые неправильно светили.

Тому, кто должен исполнять
последний, предпоследний и все прочие,
которые друг друга так порочили,
не оставалось времени пенять.

На то, чтобы судить, чтобы рядить,
уже не оставалось ни мгновенья,
а надо было тотчас проводить
последнейшее самое решение.

Пока его отмена в роту шла,
траншеи вражки занимая с хода,
роняя на белы снега тела,
рванулась исполнять приказ пехота.

«НИЧЕГО!»

Небрежение жизнью: молча,
без качания прав
изо всей умирали мочи,
прав кто или не прав,
холост кто или многодетен,
обеспечен или беден.

Не цеплялись, не приспособлялись,
а бестрепетно удалялись
и настаивали в голубизне,
не настаивая на отсрочке.
Это все было близко мне.
Я и сам бы при случае.

Строчки
из речей не застряло в ушах.
Только крики:
судьбы не затягивали.
Умирали, словно шаг
в сторону,
в сторонку
отшагивали.

Средь талантов народа всего
красноречие не фигурировало.
Превалировало и лидировало
славное словцо: «Ничего!»

РАЗМОЛ КЛАДБИЩА

Главным образом ангелы, но
также Музы и очень давно,
давности девяностолетней,
толстощекий Амур малолетний,
итальянцем изящно изваянный
и теперь в кучу общую сваленный.

Этот мрамор валили с утра.
Завалили поверхность двора —
всю, от номера первой — квартиры
до угла, где смердели сортиры.
Странно выглядит вечность, когда
так ее изваляет беда.

Это кладбище лютеранское,
петербургское, ленинградское
вырвали из родимого лона,
нагрузили пол-эшелона,
привезли как-то утром в наш двор,
где оно и лежало с тех пор.

Странно выглядит вечность вообще.
Но когда эта вечность вотще,
если выдрана с корнем, разрушена
и на пыльные лужи обрушена, —
жалко вечности, как старика,
побирающегося из-за куска.

Этот мрамор в ночах голубел,
но не выдержал и заробел,
и его, на заре розовеющего
и старинной поэзией веющего,
матерьял его и ореол
предназначили нынче в размол.

Этих ангелов нежную плоть
жернова будут долго молоть.
Эти важные грустные плиты
будут в мелкую крошку разбиты.
Будет гром, будет рев, будет пыль:
долго мелют забытую быль.

Миновало полвека уже.
На зубах эта пыль, на душе.
Ангела подхватив под крыло,
грузовик волочил тяжело.
Сыпал белым по белому снег.
Заметал — всех.
Заваливал — всех.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Полуподвал, в котором проживал,
где каждый проезжавший самосвал
такого нам обвалу набивал,
насовывал нам в уши или в душу!
Но цепь воспоминания нарушу:
ведь я еще на выставках бывал.

Музейно было и полутемно
на выставках тогда, давным-давно,
но это, в общем, все равно:
любая полутемная картина,
как двери в полутемную квартиру,
как в полусвет чужой души окно.

Душа людская! Чудный полумрак,
в котором затаились друг и враг,
мудрец, ученый, рядовой дурак.
Все — люди! Человеки, между прочим.
Я в человековеды себя прочил
и разбирался в темных колерах.

На выставках сороковых годов
часами был простаивать готов
пред покорителями городов,
портретами, написанными маслом
в неярком освещении, неясном,
и перед деятелями всех родов.

Какая тропка в души их вела?
Какая информация была
в тех залах из бетона и стекла,
где я, почти единственный их зритель,
донашивал свой офицерский китель
и думал про себя: ну и дела!

Вот этот! Он не импрессионист,
и даже не экспрессионист,
и уж конечно не абстракционист.
Он просто лгун. Он искажитель истин.
Нечист он пред своей мохнатой кистью
и пред натурою своей нечист.

Зачем он врет? И что дает ему,
что к свету он подмешивает тьму?
Зачем, зачем? Зачем и почему?
Зачем хорошее держать в подвале,
а это вешать в самом лучшем зале —
неясно было смыслу моему.

Все это было и давно прошло,
и в залах выставочных светло,
но я порой вздыхаю тяжело
и думаю про тот большой запасник,
куда их сволокли, пустых, неясных,
писавших муторно и тяжело.

НЕДОДАЧА

Недодача. Не до деревни
было даже в истории древней.
С той поры и до этих пор
продолжается недобор.
Деньги, книги, идеи, уют
до сих пор недодают.

На словах в ней души не чают,
а на деле переполучают.
Весь, она и осталась весь —
в этом смысл истории весь.

Грош да грош, за малостью малость
недоимка образовалась:
мужикам горожане должны,
но не в силах признать вины.

Неспособны признать перебора.
Но в последние времена
начинаются перебои.
Вехой же пролегла война...

Покосилось и обносилось,
прохудилось, сжалось село,
и вывозят его на силос,
кто печально, кто веселó,
и, сведя вековые дубравы,
изведя вековые леса,
начинают высаживать браво
ели,
тоненькие, как лоза,
ели,
слабенькие, как слеза.

ГОРОЖАНЕ

Постепенно становится нас все больше,
и все меньше становится деревенских,
и стихают деревенские песни,
заглушенные шлягером или романсом.
Подпол — старинное длинное слово
заменяется кратким: холодильник,
и поет по утрам все снова и снова
городской петух — толстобрюхий будильник.

Постепенно становится нас все больше,
и деревня, заколотив все окна
и повесив пудовый замок на двери,
переселяется в город. Подале
от отчих стен с деревенским погостом
и ждет, чтобы в горсовете ей дали
квартиру со всем городским удобством.

Постепенно становится нас все больше.
Походив три года в большую школу
и набравшись ума, кто сколько может,
бывшие деревенские дети
начинают смеяться над бывшей деревней,
над тем, что когда-то их на рассвете
будил петушок — будильник древний.

Постепенно становится нас все больше.
Бывший сезонник ныне — заочник
гидротехнического института.
Бывший демобилизованный воин
в армии искусство шофера
вплоть до первого класса усвоил
и получает жилплощадь скоро.

Постепенно становится нас все больше,
и стихают деревенские песни,
именуемые ныне фольклором.
Бабушки дольше всех держались,
но и они вопрос решают
и, поимевши ко внукам жалость,
переезжают, переезжают.

ГРЕШНИЦЫ

Какие мы грешницы?
Разве мы грешницы?
Всего прегрешения,
может, на трешницу.
Попробуй на наши гроши
согреши.
Мы даже не перешагнули
порога
порока.
Без денег — ни смысла, ни прока.
И самые помыслы наши греховные —
безгрешные, словно бы лица духовные!
И злобы, что вспыхнет, случилось, у нас,
хватало на академический час.
И лесть, если льстим, до того неуклюжа,
такая любительщина и чепуха,
что не обольщает великого мужа,
в подробностях знающего цену греха.
Какие мы грешницы?
Что вы там брешете!
При наших при книжках при трудовых
мы ангелов святей рядовых!
При наших окладах,
при наших зарплатах
все с белыми крыльями
в чистых заплатах —
мы в рай допускаемся!
Без закавык!

ПРОСТУПАЮЩЕЕ ДЕТСТВО

Просматривается детство
с поры настоящего детства
и до впадения в детство.

Повадки детские эти
видны на любом портрете
за века почти две трети:
робости повадки,
радости повадки,
резкости повадки.

Не гаснут и не тают.
По вечной своей программе
все время словно взлетают
игрушечными шарами.
Покуда Ване Маня
не скажет на смертном ложе:
я умираю, Ваня,
услышав в ответ:
я тоже.

ПАМЯТИ ОДНОГО ВРАГА

Умер враг, который вел огонь
в сторону мою без перестану.
Раньше было сто врагов.
Нынче девяносто девять стало.

Умер враг. Он был других не злее,
и дела мои нехороши.
Я его жалею от души:
сотня — цифра все-таки круглее.

Сколько лет мы были неразлучны!
Он один уходит в ночь теперь.
Без меня ему там будет скучно.
Хлопнула — по сердцу словно — дверь.

СИЛА СЛОВА

Мальчик в поезде
пса пожилого
выдает за щенка небольшого.
Не дает контролеру слова
молвить. Снова и снова
повторяет: это щенок.
Псина же
под гром его доводов
и без дополнительных поводов
уменьшается со всех ног.

Ужаснувшийся силе собственной,
мальчик просит с улыбкой родственной:
увеличивайся, Мурат!
И щеночек
во пса всемогущего,
нелюдимого, мрачного, злющего
увеличиться тотчас рад.

Контролер их обоих взашей,
пса и мальчика,
гонит вон.
Плачет мальчик,
вдруг осознавший,
что за силой
владеет он.

СЕДЫЕ БРОВИ

Покуда грядущее время,
не поспешая, грядет —
когда там оно придет,
когда там оно настанет! —
свою суровую нитку,
жестокую нитку прядет
небезызвестная пряжа.
Она никогда не устанет.

Как для царя московского,
а также всяя Руси
красавиц всяя Руси
спроваживали на смотрины,
старухи всей России,
свезенные на такси,
выбрали эту пряжу,
холодную, как осетрина.

Она объективна, как вобла,
и ежели не глуха,
то все же не хочет слушать
и слышать даже вполуха.
Мы падаем, опадаем,
как полова, шелуха,
она же бровью седою
не поведет, старуха.

И даже у самых смелых
спирает дерзостный дух,
когда они вспоминают
бессоннейшими ночами
густые седые брови
высокомерных старух,
густые седые брови
над выцветшими очами.

СОВЕСТЬ

Начинается повесть про совесть.
Это очень старый рассказ.
Временами, едва высовываясь,
совесть глухо упрятана в нас.
Погруженная в наши глубины,
контролирует все бытие.
Что-то вроде гемоглобина.
Трудно с ней, нельзя без нее.
Заглушаем ее алкоголем,
тешем, пилим, рубим и колем,
но она, на распил, на распыл,
на разлом, на разрыв испытана,
брита, стрижена, бита, пытана,
все равно не утратила пыл.

НЕ ЗА СЕБЯ ПРОШУ

За себя никогда никого не просил,
потому что хватило мне сил
за себя не просить никого никогда,
как бы ни угрожала беда.

Но просить за других, унижаться, терпеть,
даже Лазаря петь,
даже Лазаря петь и резину тянуть,
спину гнуть,

спину гнуть и руками слегка разводить,
лишь бы как-нибудь убедить,
убедить тех, кому все равно —
это я научился давно.

И не стыд ощущаю теперь я, а гнев,
если кто-нибудь, оледенев,
не желает мне внять, не желает понять,
начинает пенять.

Но и гнев я надежно в душе удержу,
потому что прошу
за других — не себе и не в пользу свою.
Потому-то и гнев утаю.

* * *

Какие они, кто моложе меня
на тридцать лет, кому двадцать лет,
кто еще не проверил лотерейный билет,
не прикурил от собственного огня!
Кто они, говорящие почти на одном
языке со мною, почти те же святыни
чтящие, но глядящие глазами пустыми
на переворачивающее меня вверх дном.
Спрашиваю — кто вы? Слышу в ответ
имена, фамилии, годы рожденья,
иногда просьбу дать совет,
иногда — мнение (для подтверждения).
Но чаще всего слышу стихи.
Слишком слышанные. Слишком похожие.
Пустяки. А пустяки
не ощущаю дрожью по коже я.
А я не хочу советы давать.
Мне нужно знать, кому сдавать
пост, куда я поставил
сам себя давным-давно,
знать, чье загорится окно,
когда опустится мой ставень.

* * *

Может, этот молодой
поэт, с его лепетом —
там, за далью золотой, —
Пушкин или Лермонтов?

Может, мучает он слух,
терзает рассудок,
потому что есть в нем дух
гениальных шуток?

И хотя в нем смыслу нет,
с грамотешкой худо,
может, молодой поэт
сотворяет чудо?

Нет, не сотворит чудес —
чудес не бывает, —
он блюдет свой интерес,
книжку пробивает.

Поскорей да побыстрей,
без ненужной гордости,
потому что козырей
нету, кроме молодости.

СЛАВА

Местный сумасшедший, раза два
чуть было не сжегший всю деревню,
пел «Катюшу», все ее слова
выводил в каком-то сладком рвеньи.

Выходил и песню выводил,
верно выводил, хотя и слабо,
и когда он мимо проходил,
понимал я, что такое слава.

Солон, сладок, густ ее раствор.
Это — оборот, в язык вошедший.
Это — деревенский сумасшедший,
выходящий с песнею во двор.

ЗНАЕШЬ САМ!

Хорошо найти бы такое «я»,
чтоб отрывисто или браво
приказало мне бы: «Делай, как я!» —
но имело на это право.

Хорошо бы, морду отворотив
от обычных реалий быта,
увидать категорический императив —
звезды те, что в небо вбиты.

Хорошо бы, вдруг глаза отведя
от своих трудов ежедневных,
вдруг найти вожатого и вождя,
даже требовательных и гневных.

Хорошо, что такое «хорошо»
где-нибудь разузнать наверно,
как оно глубоко, высоко, широко —
чтобы не поступать неверно.

Впрочем, что апеллировать к небесам?
Знаешь сам. Знаешь сам. Знаешь сам.
Знаешь сам.

* * *

Не домашний, а фабричный
у квасных патриотов квас.
Умный наш народ, ироничный
не желает слушаться вас.

Он бы что-нибудь выпил другое,
но, поскольку такая жара,
пьет, отмахиваясь рукою,
как от овода и комара.

Здешний, местный, тутошний овод
и национальный комар
произносит свой долгий довод,
ничего не давая умам.

Он доказывает, обрисовывает,
но притом ничего не дает.
А народ все пьет да поплеывает,
все поплеывает да пьет.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

У меня еще дед был учителем русского языка!
В ожидании верных ответов
поднимая указку, что была нелегка,
он учил многих будущих дедов.

Борода его, благоухавшая чистотой,
и повадки, исполненные достоинством и простотой,
и уверенность в том, что Толстой
Лев, конечно
(он меньше ценил Алексея),
больше бога!

Разумное, доброе, вечное сея,
прожил долгую жизнь,
в кресле после уроков заснул навсегда.

От труда до труда
пролегал прямая дорога.

Родословие не пустые слова.
Но вопросов о происхождении я не объеду.
От Толстого происхожу, ото Льва,
через деда.

АЗБУКА И ЛОГИКА

Сказавший «А»
сказать не хочет «Б».
Пришлось.
И вскоре по его судьбе
«В», «Г», «Д», «Е»
стучит скороговорка.
Арбузная
«А» оказалась корка!
Когда он поскользнулся, и упал,
и встал, он не подумал, что пропал.
Он поскользнулся,
но он отряхнулся,
упал, но на ноги немедленно встал
и даже думать вовсе перестал
об этом.
Но потом опять споткнулся.

Какие алфавит забрал права!
Но разве азбука всегда права?
Ведь простовата
и элементарна
и виновата
в том, что так бездарно
то логикой, а то самой судьбой
прикидывается пред честным народом.
Назад! И становись самой собой!
Вернись в букварь, туда, откуда родом!

По честной формуле «свобода воли»
свободен, волен я в своей судьбе
и самолично раза три и боле,
«А» сказав, не выговорил «Б».

БИТЬЕ В ГРУДЬ

Бью себя в грудь — просто для практики
наедине, от людей в стороне.
Здесь, в далеком углу галактики,
это еще пригодится мне.

Без битья в свою же грудь
своими руками себя самого
здесь ни охнуть, ни вздохнуть,
не добьешься ничего.

Не добьешься, пока не добьешь
грудь — и посередке и около.
Волнами расходится дрожь,
словно благовест от колокола.

Я стези своей не таю:
кашляя, от натуги сопя,
бую себя в грудь,
в грудь себя бую,
в грудь бую себя.

* * *

Иду домой с собрания:
окончилось как раз.
Мурлычу то, что ранее
мурлыкалось не раз —

свободы не объявят
и денег не дадут,
надуют и заставят
кричать, что не надут.

Ну что ж, иной заботой
душа давно полна.
Деньгами и свободой
не тешится она.

* * *

Когда ругали мы друг друга,
когда смеялись друг над другом,
достаточные основания
имел любой для беснованья.

В том беснованьи ежечасном
неверен в корне был расчет,
ведь только промолчавший — счастлив,
только простивший
был прощен.

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Я перед ним не виноват,
и мне его хвалить не надо.

Вот, вяловат и вороват,
цвет кожи будто у нанайца,
вот, непромыт, но напрямик
по лестнице он лезет
славы.

Из миллиона горемык
один остался, уцелел,
оцепенел, оледенел,
окаменел, ополоумел,
но все-таки преодолел:
остался, уцелел, не умер!
Из всей кавалерийской лавы
он только
доскакать сумел.

В России пьют по ста причинам,
но больше все же с горя пьют
и ковыряют перочинным
ножом
души глухую дебрь.

О, справедливый, словно вепрь,
и, словно каторга, счастливый!
О, притворявшийся оливой
и голубем! Ты мудр и зол!
А если небеса низвел
на землю — с тем, чтоб пнуть ногою.

Хотел бы одою другою
тебя почтить. Но не нашел.

О, возвращавшийся из ада
и снова возвращенный в ад!
Я пред тобой не виноват,
и мне тебя хвалить — не надо.

РИТМ

Умирают добрые —
жалко добрых.
Умирают злые —
жалко злых.
Образ затуманенный
и облик
превращается
в пресветлый лик.

Все надежды,
что не оправдал покойник,
выступают в тех чертах спокойных,
ясно всем, что если бы,
да кабы, да поворот судьбы,
да тропа иная,
да среда другая,
или жизнь не такая
была дорогая,
не такая большая
семья была,
или чуть мозгов
поболее было,
то судьба его, бешеная кобыла,
еще долго-долго его бы несла.

А друзья усопшего произносят
речи
и поправки вносят
в эту шалую трепаную судьбу,
и покойник, благостный, как огурчик,
добежавший среди бегущих,
просветленно слушает их в гробу.

* * *

Смерть — единственная управа
там, где нет ни морали, ни права:
смерть от рака и смерть от рока,
смерть от грозной руки пророка,
загоняющей кривду в гробы.

Словно жажду утоляешь,
так, случается, благословляешь
беспардонный удар судьбы.

Вроде вовсе не было выхода,
вовсе некуда было идти,
но, оказывается, выгоды
может даже смерть принести,
и, веселый, непокоренный,
в долгой очереди похоронной,
сжав приличный букет цветов,
хоть полсуток стоять готов.

СЛУЧАЙ

Этот случай спланирован в крупных штабах
и продуман — в последствиях и масштабах,
и поэтому дело твое — табак.
Уходи, пока цел.

Этот случай случится, что б ни случилось,
и поэтому не полагайся на милость
добродушной доселе судьбы. Уходи.
Я сказал тебе, что тебя ждет впереди.

Уходи, пока цел.
Забирай все манатки.
Измени свою цель.
Постригайся в монахи.
Сгинь, рассейся, беги, пропади!
Уходи!

Исключений из правила этого нету.
Закатись, как в невидную щелку — монета,
зарасти, как тропа, затеряйся в толпе,
вот и все, что советовать можно тебе.

ПРОФЕССИЯ

Наплевизм и спустярукавство,
весь небось, потому что авось,
не сословие и не каста,
шайка-лейка, вырви да брось.

Шайка-лейка. Лейка-шайка.
Ляп да тяп. Тяп да ляп.
Все легко, потому что шатко,
потому что все на соплях.

То поплачем, то захохочем.
Шансов мало. Едва-едва.
А проскочим? Может, проскочим:
проскочили не раз и не два.

* * *

Голоса не дал Господь
и слова
не хотел давать.
Это все своим трудом,
своим стараньем.
Книги не хотели издавать.
Я их пробивал и протаранил.

Я ведь не жуир, не бонвиван,
не кудесник, не бездельник.
Упражненьем голос развивал.
Тщаньем добывал толику денег.
Даром ничего не брал.
Впрочем — не давали.
Жил, как будто отбывал аврал,
но сравненье подберешь едва ли.

* * *

На русскую землю права мои невелики.
Но русское небо никто у меня не отнимет.
А тучи кочуют, как будто проходят полки.
А каждое облачко приголубит, обнимет.
И если неумолима родимая эта земля,
все роет окопы, могилы глубокие роет,
то русское небо, дождем золотым пыля,
простит и порадует, снова простит и прикроет.
Я приподнимаюсь и по золотому лучу
с холодной земли на горячее небо лечу.

* * *

Арьергардные бои —
все, что нам осталось,
и у каждого — свои,
собственная старость.

Общая у нас черта:
убывают кадры
и подводится черта.
Крышка арьергарду.

Прядь седая у виска:
тучи небо кроют.
Арьергардные войска
молодежь прикроют.

Платим до конца платеж
в том сраженьи тихом.
Арьергарды, молодежь,
вспомняешь ли? лихом?

Лучше лихо помяни
то, что мы избыли.
Помяни и извини:
уж какие были.

САМ ВСТАЕШЬ

Легкое покалыванье совести
на исходе трудового дня
от какой-нибудь кровавой новости,
мало задевающей меня —

словно при китайском врачеваньи,
вроде бы незначачий укол
небольшого чина или званья
в душу загоняет кол.

Словно бы при иглотерапии,
так же, как при ней, точь-в-точь —
вроде бы тебя не торопили,
сам встаешь.
Уходишь в холод, в ночь.

НЕОБХОДИМОСТЬ ГОРЯ

Радость радости не приносила.
Счастье длилось короткий миг.
Только горе — великая сила —
длится дольше столетий самих.

Только горе обширно, как море,
и, как небо над ним, высоко,
и в конце концов только горе
переносится нами легко.

Оглушенный трезвоном счастья,
надоедным его бубенцом,
я задумываюсь все чаще,
что доволен буду концом

этой долгой удачи, ровной,
словно полировка доски,
и началом тоски огромной,
бесконечно большой тоски.

НАДЕЖДЫ

Все уладится, обойдется.
Горе, в общем-то, — не беда,
и в последний момент найдется,
что затеряно навсегда,
и в последний момент, последний,
окончательный, страшный момент
дождик, что ли, посыплет летний,
как предвестие перемен,
или солнышко выйдет, выглянет,
или травка асфальт прорвет,
и почти утопленник — вынырнет,
и почти мертвец — оживет.

Так, с бессмысленностью невежды,
я надеюсь, что надежда
не захочет меня выдавать.
Не решится, а если захочет,
то потом непременно расхочет,
не пойдет меня выдавать.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТПУСК

Отпуск дал себе на отчаяние,
на скулеж и жалобный вой,
на бессмысленное качание
(руки заломив)
головой.

И опять — за стол. За работу,
чтобы изредка за трудом
время слез и холодного поту
вспоминать со стыдом.

Сомневались, но не усумнились.
Колебались, но в нужный момент
ни отчаянию на милость
и ни страху на сей же предмет

не сдались,
а то, что говорено
было
самому себе,
это временами дозволено,
это не мешает судьбе

гнуть негнущуюся линию,
вышибать во все времена
новым клином старые клинья
и переть
супротив рожна.

ОТЕЧЕСТВО И ОТЧЕСТВО

— По отчеству, — учил Смирнов Василий, — их распознать возможно без усилий!

— Фамилии сплошные псевдонимы, а имена — ни охнуть, ни вздохнуть, и только в отчествах одних хранимы их подоплека, подлинность и суть.

Действительно: со Слуцкими князьями делю фамилию, а Годунов — мой тезка, и, ходите ходуном, Бориса Слуцкого не уличить в изъяне.

Но отчество — Абрамович. Абрам — отец, Абрам Наумович, бедняга. Но он — отец, и отчество, однако, я, как отчество, не выдам, не отдам.

* * *

Терплю свое терпение
который год,
как пение сольфеджио
девчонкой за стеной.
Девчонка безголосая
горлянку дерет,
и за душу терпение
мое меня берет.

Обзавожусь привычками
и привыкаю к ним,
то предаюсь порокам,
то делаю добро.
Девчонка безголосая
все занята одним:
за гаммой гамму гонит,
как поезда метро.

Усилие, которое
казалось мне бедой,
потом в привычку входит
и входит в обиход.
А я, словно корова —
не страшен мне удой.
Терплю свое терпение
который год.

* * *

Немедленная справедливости!
Закреть глаза и — воцарится
и ровным светом озарится
равнина быта моего,
блистает серебром, как Рица,
немедленная справедливость,
вокруг расстелется счастливость,
она и больше ничего.

Она, она! Ее законы,
нависшие, словно балконы,
и обязательное счастье,
нависшее, словно обвал.
Неукоснительное счастье,
его законоположенья
пришли немедленно в движенье,
рокочат, как девятый вал.

Закрыв глаза и вдруг представил,
испуганно их открываю,
открою — больше не закрою.
Нет, той страны не нужно мне,
где исключения из правил
не допускаются игрою.
Мне тошно будет, не скрываю,
в той справедливейшей стране.

КРИТЕРИИ

Над нами вечный критерий — небо.
Под нами плавный критерий — река.
А более нам ничего не треба,
не требуется ничего пока.

Убедительнее примера
для подражания не подберу,
чем звезд высокая, высшая мера
и травы, зыблемые на ветру.

ПОЙ, ЖАВОРОНОК

Звон
бубенца иль телефона,
неведомо, откуда он —
далекий звон.

Звук
необычный, небывалый
не дело человеческих рук —
тончайший звук.

Мост
между небом и землею,
от преисподней и до звезд —
стеклянный мост.

Птах
жаворонок, вот он, вот он
с прозрачной песней на устах —
удалый птах.

Вмиг
миры стянувший в крепкий узел
и распеваящий для них,
продлись же миг.

Пой,
жаворонок, над полями,
тяни мотивы над тропой.
Немолчно пой.

КАК ПРОЕХАТЬ К ВОЗДУШНОМУ ЗАМКУ

Оказывается, возможно строительство замков воздушных, просторных и светлых замков, которые лучшедушных, которые лучше людных, толкающихся городов.

А если оно возможно, то я поглядеть готов

воздушные замки с птицами, поющими подо мною,
с доступною синевою, с подручною голубизною,
со стенами, утепленными облачным бараклом,
и с окнами, застекленными небом, а не стеклом.

Звезда — рукой достанешь — в каждой оконной раме!

А улицы между замками, чернеющие вечерами,
краснеющие на рассвете, синеющие днем!

А это низкое небо со всем, что висит на нем:

ракеты междупланетные, минуто назад запущенные,
шарики разноцветные, ребятами упущенные,
луна, которую можно гладить просто рукой,
привинченные звезды — они излучают покой.

А тучи, свежей водою до самого края полные!

А мусор воздушных замков сжигают большие молнии!

А если надо высушить выстиранное белье —
сооружают радуго и вешают на нее!

А как к воздушному замку проехать с нашей улицы?

Для этого целый вечер надо над сказкой сутулиться,
потом погулять немного, потом покрепче заснуть,
и только глаза закроете — тотчас отправитесь в путь.

Никто замк не может повесить на этот замк.

Там все ворота настежь — для всех. Для лучших самых,
но и для самых средних. Любой туда войдет
и голубую комнату немедля себе найдет.

* * *

Я теперь не прошедшее — давно прошедшее,
не перфектум — плюсквамперфектум.
К моим старым песням,
плюс к вам пропетым
добавляю из будущего пришедшие.

К старым песням сутулым
добавлю футурум,
а футурум стройнее луча или тополя.
К старым песням, которые все марши оттопали,
добавляю свистящие бурями по полю.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАБОТА (1964)

В начале 60-х годов имя Бориса Слуцкого и его поэзия обрели полные права гражданства не только в литературе, но и в журнально-издательских сферах. Расширяется круг журналов, газет и альманахов, в которых можно встретить публикации его стихов. Многие органы печати, печатавшие Слуцкого от случая к случаю, включают его в число своих постоянных, регулярно публикуемых авторов: «Юность», «Вопросы литературы», «Смена», «Сельская молодежь», «Московский комсомолец». Если о первых своих книгах Слуцкий совершенно резонно писал: «Я их пробивал и протаранил», — то сейчас они встречали более или менее благожелательное отношение и сравнительно благополучно (теряя порой, как водилось в советской издательской практике, до половины своего состава) проходили многочисленные барьеры, выходили в свет и достигали читателя.

«Работу» готовил к печати молодой редактор «Советского писателя» В. С. Фогельсон (отныне он будет редактором всех его книг, выходящих в этом издательстве, и большинства публикаций стихов Слуцкого в «Днях поэзии»). Книга была подписана к печати в июне 1964 года и вышла в свет осенью тиражом 20 тысяч экземпляров. Делилась на четыре раздела: «Виды Москвы», «Солнечные батареи», «Давным-давно», «Сегодня». В содержательном плане она продолжала предыдущую книгу «Сегодня и вчера», основное внимание автора было отдано современности, мимотекущей жизни с ее великими — первые полеты человека в космос — и малыми — впечатления от поездок Слуцкого на северный Урал, в Армению — событиями. Как всегда — и до, и после — значительное место в книге было отдано стихам-размышлениям о поэзии и поэтическом труде, как своим, так и своих старших и младших товарищей, и стихам-воспоминаниям о тридцатых годах, о войне, о послевоенном времени (по сути дела, только в таких «мемуарных» стихотворениях Слуцкому удавалось протаскивать в печать некоторые отсветы и оттенки своего отношения к Сталину, к сталинщине, к неизбытому влиянию прошлого на тогдашнюю жизнь людей и политику государства).

«Работа» имела посвящение: Татьяне Дашковской — жене и верному другу Слуцкого Татьяне Борисовне Дашковской (1930—1977).

На выход книги довольно дружно откликнулись рецензенты, состав которых сильно изменился по сравнению с прежними критиками поэзии Слуцкого. В отзывах ленинградских критиков А. Урбана («Стихи и работа» — Звезда, 1965, № 1), В. Соловьева (Юность, 1965, № 3), Е. Калмановского (статья «Язык стихов, язык поэтов» — Урал, 1966, № 4), московского поэта И. Федорина («Слова о главном» — В мире книг, 1965, № 1) вместе с положительными оценками всей книги и отдельных стихотворений наличествовал аналитический разбор содержания и поэтики творчества Слуцкого. Впрочем, остался верен себе А. Дымшиц: его рецензия называлась «А что, коль это проза?» (Москва, 1965, № 5) и представляла собой, по удачному выражению неведомого автора аннотации, вписанной в библиографическую карточку одной из московских библиотек, «разбор недостатков и некоторых удач».

21 июня (стр. 7). — Смена, 1964, № 4. В стихотворении говорится о последнем предвоенном дне — 21 июня 1941 г.

С. П. Седов (стр. 8). — ЛГ, 1964, 20 июня. Последние 4 строфы печ. впервые.

Солнечные батареи (стр. 10). — ВЛ, 1963, № 1, под заглавием «Физики». Гезиод (Геснод) — древнегреческий поэт VIII—VII вв. до н. э., автор поэмы «Труды и дни», описывающей циклы жизни и работ деревенского жителя.

«Пишите как следует...» (стр. 11). — Работа. Даль В. И. (1801—1872) и Ушаков Д. Н. (1873—1942) — составители известных «Толковых словарей русского языка».

Сэм Симкин (стр. 13). — ДП, 1962. С. Х. Симкин — современный советский поэт.

О книге «Память» (стр. 14). — Работа, с переименованной последней строкой. В неизменном виде: БСП.

К дискуссии об Андрее Рублеве (стр. 15). — Юность, 1962, № 2.

«Председатель земного шара...» (стр. 16). — Работа. Петников Г. Н. (1894—1971) — русский советский поэт, переводчик и фольклорист, друг и соратник А. Гастева и В. Хлебникова, от которого он воспринял звание Председателя Земшара. Б. Слуцкий познакомился с Петниковым во время одного из своих пребываний в Крыму, где постоянно жил Петников.

«Был обыкновенный день поэзии...» (стр. 17). — Работа.

На смерть Асеева (стр. 18). — Работа, под заглавием «На смерть товарища». С настоящим заглавием: Память. — 69.

«Пора заканчивать стихи...» (стр. 19). — ЛГ, 1962, 24 нояб.

Не винтиками были мы (стр. 20). — Юность, 1962, № 11.

Музскола имени Бетховена в Харькове (стр. 21). — Тар. стр.

Ресторан (стр. 23). — Там же. В *Работе* и других прижизненных изданиях последние 8 строк исключались.

«В маленькую киношку...» (стр. 25). — Учительская газ., 1964, 15 авг.

Старуха в окне (стр. 26). — *Работа*, под заглавием «Очень давнее воспоминание». С изменениями и под настоящим заглавием: *Память* — 69.

Полирук (стр. 27). — *Работа*, без первой половины 2-й и без 4-й строф. Полностью печ. впервые.

9-го мая (стр. 28). — ДП, 1963. К. И. Чуковский писал автору: «Новизна Ваших стихов не в эксцентризме, а в неожиданном подходе к вещам. Тысячи поэтов на всех языках прославляли День Победы, 9 Мая, но только у Вас это 9 Мая раскрывается через повествование о том, как один замполит батальона ест в ресторане салат — и у него на душе —

Ловко, ладно, удобно, здорово...

И это стихотворение — по своей «суггестивности» — стоит всех дирамов 9 Мая» (ВЛ, 1989, № 10, с. 211).

Как убивали мою бабуку (стр. 29). — Юность, 1963, № 12.

«Все слабели, бабы — не слабели...» (стр. 31). — НМ, 1956, № 10, без посвящения. Посвящение: *Работа*.

«Полиция исходит из простого...» (стр. 32). — МГ, 1963, № 1, под заглавием «Николе Вапцарову». Н. Вапцаров (1909—1942) — болгарский поэт, коммунист, за участие в антифашистской борьбе расстрелян гитлеровцами. Б. Слуцкий перевел его стихи.

«В бесплакартном, некупированном...» (стр. 33). — *Работа*. В уже цитированном письме К. И. Чуковский сказал об этом стихотворении: «Квинтэссенция о человеке 60-х годов».

Тридцатые годы (стр. 34). — ЛГ, 1962, 24 нояб., под заглавием «Тридцатые».

Как меня не приняли на работу (стр. 35). — ДП, 1962.

Добро (стр. 36). — МГ, 1962, № 5.

Большой порядок (стр. 37). — ЛГ, 1963, 21 дек.

Очки («— Подкеросинь ему пивко...») (стр. 38). — ДП, 1962.

«Где-то струсил. Когда — не помню...» (стр. 40). —

Работа, 3—4 строфы. Полностью: *МК*, 1965, 3 нояб. в *Памяти* — 69 под заглавием «Случай».

Березка в Освенциме (стр. 41). — *ДП*, 1962. Посвящение литературному критику Ю. Болдыреву, впоследствии секретарю комиссии по литературному наследию Б. Слуцкого, впервые: *Избранное*.

«Умирают отцы и матери...» (стр. 42). — *Работа*.

Как и в прежних книгах, в «Работе» не только не оказалось многих произведений поэта, написанных в 1961—1963 годах, но и не были отражены или были отражены крайне слабо многие темы его тогдашнего творчества. За пределами книги и публикаций в периодике оставались не только стихи о Сталине и сталинщине (успели проскочить только «Бог» и «Хозяин», но уже о перепечатке их нечего было и думать), но и стихи «с грузом грусти и тоски», честные раздумья о современности, честные рассказы о людях и о жизни.

«Все время думаю, что мне уже пошел сорок второй...» (стр. 43). — Печ. впервые.

«Мои старые юные фотографии...» (стр. 44). — *ДП*, 1990.

«Юность — аванс. Дается всем...» (стр. 45). — Печ. впервые.

«Покуда над стихами плачут...» (стр. 46). — Юность, 1965, № 2, без 4-й строфы и с изменениями в первой и последней строфах. Полностью: *БО. Владислав Броневский (1897—1962)* — польский поэт. Слуцкий очень ценил его творчество, перевел значительное количество его стихотворений, написал о нем большую статью «Оружье к бою» (Современная литература за рубежом. Сб. 3. М., Сов. писатель, 1971).

«Июнь был зноен. Январь был зябок...» (стр. 47). — Искусство кино, 1989, № 5.

Па яц (стр. 48). — *БЗ*.

Разговор (стр. 49). — *БЗ*.

«Два оклада выдают за два...» (стр. 50). — Печ. впервые. Доклада неопубликованного часть — имеется в виду доклад Н. С. Хрущева о культе личности, произнесенный на закрытом заседании XX съезда КПСС, опубликованный лишь спустя 33 года.

«— После лагеря ссылку назначили...» (стр. 51). — Печ. впервые.

«Из буфета пахло — избуфетным...» (стр. 52). — *БСП*.

«Тайны вызывались поименно...» (стр. 53). — *БК*.

«Мягко спали и сладко ели...» (стр. 54). — *Огонек*, 1988, № 17.

«Шаг вперед!..» (стр. 55). — Север, 1988, № 4.

«У меня было право жизни и смерти...» (стр. 56). — Знамя, 1987, № 1. В первых строках стихотворения Слуцкий вспоминает о своей службе следователем дивизионной прокуратуры в начале Великой Отечественной войны.

Объяснение (стр. 57). — Судьба.

Лирики и физики (стр. 58). — ЛГ, 1978, 6 сент. Вспоминательная печатную и устную полемику, разразившуюся после опубликования в 1959 году стихотворения «Физики и лирики», Слуцкий писал в 1972 г.: «...как и многое другое, «Физиков и лириков» писал я не столько от себя, сколько от людей примерно моего мнения». Скорее всего, настоящее стихотворение является выступлением Слуцкого в этой полемике уже «от себя самого». Еще одно стихотворение Слуцкого «О «Физиках и лириках» см.: ВЛ, 1989, № 10, с. 197.

«Стихи заводятся от сырости...» (стр. 59). — Знамя, 1987, № 1.

«Инфаркт, инсульт, а если и без них...» (стр. 60). — Нсва, 1982, № 7.

«Иностранные корреспонденты...» (стр. 61). — Знамя, 1988, № 1.

«У великих людей на могильных камнях...» (стр. 62). — Печ. впервые.

«Просторечие. Просто речь...» (стр. 63). — Печ. впервые.

«Критики меня критиковали...» (стр. 64). — Знамя, 1988, № 1.

«Благодарю за выволочки...» (стр. 65). — Неделя, 1989, № 5.

Историки былых веков (стр. 66). — Печ. впервые.

Многовариантность истории (стр. 67). — Смена, 1988, № 21.

«Пришла пора, брады уставя...» (стр. 68). — БЗ.

Пересуд («Ворошат слежавшиеся вороха. Уже...») (стр. 69). — Печ. впервые.

Законные требования человечества (стр. 70). — БСП.

Полезное дело (стр. 71). — БЗ. Плутарх — греческий философ и писатель I—II вв., автор «Параллельных жизнеописаний» великих людей Древней Греции и Древнего Рима. Солон (VII—VI вв. до н. э.) — афинский архонт, автор знаменитых реформ, один из героев плутарховых биографий.

«Что за необычная зима!..» (стр. 72). — Знамя, 1987, № 1.

«Жалко молодого президента...» (стр. 73). — ЛО,

1989, № 7. В стихотворении речь идет об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 г.

«Все было на авосе...» (стр. 74). — БЗ.

«Единогласные голосования...» (стр. 75). — БЗ.

Сын негодяя (стр. 76). — НМ, 1986, № 7.

«Полюбил своей холодной душой...» (стр. 78). — СРЛ.

«А ты по-прежнему точен...» (стр. 79). — Печ. впервые.

«Женщины, с которыми — ты...» (стр. 80). — БСП.

«Современность, нынешность, сегодняшность...» (стр. 81). — Печ. впервые.

«Расставляйте покрепче локти-ка...» (стр. 82). —

БЗ.

«Совість, как домашняя собака...» (стр. 83). —

БСП.

«Старая записная книжка!..» (стр. 84). — Печ. впервые.

С Л. Ю. Брик, женой О. М. Брика, подругой В. В. Маяковского, Б. Слуцкий был знаком с довоенных времен и до начала своей болезни в 1977 г. поддерживал дружеские отношения. См. его воспоминания «Знакомство с Осипом Максимовичем Бриком» (ВЛ, 1989, № 10, с. 172—179).

«Вода бывает чистая, грязная, горькая, горячая...» (стр. 85). — Печ. впервые.

«Не верю, что жизнь — это форма...» (стр. 86). — Знамя, 1989, № 3.

СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИИ (1969)

Четвертую и пятую книги Слуцкого разделяет необычно большой временной промежуток — пять лет. О причинах этого промежутка и о том, какого они порядка: внешнего, обстоятельного? или внутреннего, творческого? — сказать пока что трудно. Правда, в этом промежутке в молодогвардейской «Библиотечке избранной лирики» вышла 30-страничная брошюра со стихами Слуцкого (1965), но она была заполнена уже известными стихами.

В 1969 году Слуцкому исполнилось 50 лет. К нему и были приурочены два новых издания: первое, небольшое избранное («Память. Стихи. 1944—1968»), вышедшее в издательстве «Художественная литература» со вступительной статьей Л. Лазарева, и, как было указано в подзаголовке «Современных историй», «новая книга стихов» в «Молодой гвардии». (К слову сказать, это была последняя книга Слуцкого в этом издательстве, доселе щедро издававшим его стихи, так как личный конфликт поэта и нового директора издательства, возникший после выступления Слуцкого на приемной комиссии Московского отделения Союза писателей с возражениями против

его приема, надолго, почти навсегда, закрыл Слуцкому путь в это издательство: там перестали печататься даже его переводы, стихи исключались из антологий и тематических сборников, имя поэта было нежелательным для издательских работников даже спустя годы. Так, в альманахе «Поэзия», членом редколлегии которого много лет состоял Слуцкий, его стихи смогли быть напечатаны после упорных стараний главного редактора Н. К. Старшинова лишь в 1984 году.)

Впрочем, к юбилею поэта, отмечавшемуся в мае (так, *ЛГ* откликнулась на него проникновенной статьей А. П. Межирова), ни та, ни другая книга не успели. «Современные истории» были подписаны к печати лишь в сентябре и вышли в свет едва ли не в начале следующего, 1970 года. Книга состояла из четырех неозаглавленных разделов, стихи в них были распределены обычным для Слуцкого образом: стихи о современности и о современниках; стихи о стихах и поэтах, здесь впервые был воедино собран цикл о М. В. Кульчицком; стихи о войне; стихи о себе и своей жизни. Тираж книги был для поэта небывалым — 50 тыс. экз.

Сочувственно откликнулись на книгу критик З. Паперный (*НМ*, 1970, № 2), сибирский поэт Л. Решетников (*Сибирские огни*, 1973, № 2), ленинградский критик Н. Банк (*Нева*, 1972, № 6) и др. Рецидивом прежней невнимательной и несправедливой критики прозвучала статья Э. Володина «Девальвация поэтического слова» (*МГ*, 1970, № 7), в которой вновь возникли обвинения в дегероизации войны, излишней многозначительности и вульгарном примитивизме, а также подвергались осуждению критики Л. Лазарев и З. Паперный, державшиеся иных мнений о поэзии Слуцкого.

В «Современных историях» наметился, но только наметился, перелом в творчестве Слуцкого, едва прочертились новые темы, которым предстояло в дальнейшем прорасти в его работе.

«Россия увеличивала нас...» (стр. 89). — *Кругозор*, 1967, № 3.

«Брали на обед по три вторых...» (стр. 90). — *Юность*, 1968, № 10.

«Целый класс читает по слогам...» (стр. 91). — *Кругозор*, 1964, № 8.

Московские рабочие (стр. 92) — *СИ*.

Страх (стр. 93). — *Юность*, 1965, № 2.

«Если вся рота идет не в ногу...» (стр. 94). — *СИ*.
Кругосветный путешественник (стр. 95). — *Юность*, 1965, № 2.

«Женщина заплакала. У нее...» (стр. 97). — *Юность*, 1969, № 4.

Сколько платят поэтам (стр. 98). — *ВЛ*, 1963, № 1. По семи, по четырнадцати, по двадцати за любую строку нам дадут — цены в дореформенном (1961) исчислении.

Пластинка (стр. 100). — Смена, 1965, № 3. У Слуцкого в доме была отлично подобранная фонотека с записями симфонической, камерной, инструментальной музыки.

«В эпоху такого размаха...» (стр. 101). — *ВЛ*, 1967, № 1.

Духовые оркестры (стр. 102). — Юность, 1965, № 2.

Мои товарищи (стр. 103). — Пионерская правда, 1965, 23 февр.

Просьбы (стр. 104). — Сквозь время. Павел Коган. Михаил Кульчицкий. Николай Майоров. Николай Отрада. Стихи поэтов и воспоминания о них. М., Сов. писатель, 1964. Напеч. в составе цикла стихов, посвященных памяти М. В. Кульчицкого.

Псевдонимы (стр. 105). — *ВЛ*, 1967, № 1, первые и последние 12 стихов. В *СИ* — без последней строфы. В настоящем издании текст от слов «Он пил да не пропил» до «навек в спирту сохранится светловских острот» печ. впервые. *Артем Веселый, Демьян Бедный, Павел Беспощадный* — псевдонимы Н. И. Кочкурова, Е. А. Придворова, П. Г. Иванова.

«В поэзии есть ангелы и люди...» (стр. 107). — *СИ*. С изменениями: *ГС*.

«Поэта подбирают...» (стр. 108). — Юность, 1968, № 10. Конец стихотворения от слов «...и не тянули до бесконечности» печ. впервые.

Холсты Акопа Коджояна (стр. 109). — Юность, 1965, № 2, без двух последних строк. Полностью: *СИ. Мартирос Сарьян* (1880—1972) и *Акоп Коджоян* (1883—1959) — армянские художники.

«Ответственные повествования...» (стр. 111). — Юность, 1968, № 10. В *СИ* без последней строфы.

«Когда откажутся от колеса...» (стр. 112). — *Кругозор*, 1967, № 3.

Слова, слова (стр. 113). — *СИ*.

Рейд (стр. 114). — Наш современник, 1967, № 5.

Кропотово (стр. 116). — *КП*, 1964, 31 дек.

Роман Толстого (стр. 117). — Знамя, 1966, № 2.

Переправа (стр. 119). — Смена, 1965, № 21.

Высвобождение (стр. 121). — Знамя, 1965, № 2.

Двести метров (стр. 122). — Пионер, 1965, № 2.

День Победы в Альпах (стр. 123). — Пионер, 1965, № 5. В *ДП*, 1965 и *ВМР* за строкой «Трамвай гурьбой за арбою идут» следовало:

Повозочный старенький дремлет в арбе,
верблюду кричит, как быку: «Цоб-цобе!»
Усталый, в шинельку закутанный,
дремлет.

Покоя добился в суровой борьбе.

Маршал Толбухин (стр. 125). — *СИ*. В *ВМР* 6-я строка читается так: «Интеллигент, пусть в первом поколеньи». *Ф. И. Толбухин* (1894—1949) — полководец Великой Отечественной войны, командовал Южным, 3-м и 4-м Украинскими фронтами. Слуцкий воевал в армии, находившейся в распоряжении *Ф. И. Толбухина*.

«Слышу шелест крыл судьбы...» (стр. 127). — *КП*, 1967, 31 мая.

Двадцатый век (стр. 128). — Наш современник, 1967, № 5. Последние 8 строк печ. впервые. В журнале и *СИ* вместо них стояло:

Век двадцатый! Рабочее место!
Мой станок! Мой письменный стол!
Мни меня! Я твоё тесто!
Бей меня! Я твой стон.

«У времени вечный завод...» (стр. 129). — *Юность*, 1966, № 5.

Отрочество (стр. 130). — *СИ*.

«А я не отвернулся от народа...» (стр. 131). — *Память — 69*. С исправлением: *БСП*.

«Интеллигенция была моим народом...» (стр. 132). — *СИ*.

Высокомерие (стр. 133). — *СИ*.

«Теперь Освенцим часто снится мне...» (стр. 134). — *СИ*. *Бедный Лазарь* — евангельский персонаж.

«Скамейка на десятом этаже...» (стр. 135). — *Юность*, 1968, № 10.

«Образовался недосып...» (стр. 136). — *ВЛ*, 1967, № 1, с измененной 3-й и без 4-й строфы. Полностью: *БЗ*.

«На стремительном перегоне...» (стр. 137). — *Юность*, 1967, № 4.

«Мне кажется, когда протянут шнур...» (стр. 138). — *ДН*, 1968, № 11.

Именно в промежутке между «Работой» и «Современными историями», в середине и второй половине 60-х годов, Слуцкий пережил мировоззренческий перелом: произошел хотя и давно подготавливавшийся, но тем не менее резкий и драматический отход Слуцкого от революционных, коммунистических идеалов или, что, может быть, точнее, от практики достижения этих идеалов в нашей стране.

Здесь сказались и прозрения Слуцкого, наступившие после верхушечного переворота на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1964 года, в результате которого был отставлен Н. С. Хрущев, а его место занял Л. И. Брежнев, и процесс А. Синявского — Ю. Даниэля, сопряженный с активно демонстрированным нежеланием властей прислушаться к голосу советской и мировой общественности, протестующей против этого судилища, и вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию, и многое другое.

К сожалению и конечно, в «Современных историях», как и в журнально-газетных публикациях стихов Слуцкого, этот перелом никак не отразился (разве что сейчас, задним числом, можно уловить некие его отсветы в ряде стихотворений, например, в стихотворении «На стремительном перегоне...»). На самом же деле Слуцкий писал об этом много, писал горько и резко, но этим его строкам суждено было появиться в печати лишь спустя два десятилетия.

Равно как оставались до поры до времени в рабочих тетрадях поэта его серьезные размышления о судьбе России в двадцатом веке, о незадавшейся судьбе его поколения, новые стихи о 30—40-х годах, о трагических биографиях советских людей, о военной и экологической опасностях, грозивших нашей стране и миру, и многие другие значительные произведения.

Натягивать не станем удила (стр. 139). — Огонек, 1988, № 17.

«Государство уверено в том, что оно...» (стр. 140). — Горьковский рабочий, 1989, 5 мая.

Странности (стр. 141). — ДН, 1988, № 11.

Кариатиды (стр. 143). — Сибирские огни, 1968, № 12.

«У каждого были причины свои...» (стр. 144). — Собеседник (Горизонт), 1988, № 2.

Последний подарок судьбы (стр. 145). — Театр, жизнь, 1988, № 4.

Доверительный разговор (стр. 147). — Знамя, 1989, № 3.

«Было право на труд и на отдых...» (стр. 148). — Альманах «Апрель», вып. 2. М., 1990.

«Лезвий бритвенных в Пуле нету...» (стр. 149). — ЛГ, 1988, 25 мая. Пула — портовый город в Югославии. Слуцкий побывал в нем во время первого рейса теплохода «Назым Хикмет», в который он был приглашен как друг и переводчик турецкого поэта.

«Человек на развилке путей...» (стр. 150). — Юность, 1965, № 2.

«Переехало, раздавило...» (стр. 151). — БСП.

«Я целые годы свои забыл...» (стр. 152). — Нева, 1989, № 5.

«Спешит закончить Эренбург...» (стр. 153). — Огонек, 1991, № 3. *Свои анналы* — мемуарная книга И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», часть за частью печатавшаяся в те годы в журнале «Новый мир».

«А что же все-таки, если бог...» (стр. 154). — БЗ.

«Человек подсчитал свои силы...» (стр. 155). — БЗ.

Выдержка (стр. 156). — Веч. Казань, 1990, 20 марта.

Баллада о догматике (стр. 158). — Ленинская смена (Горький), 1989, 17 мая. *По тридцати томам его собрания* — вышедшие до войны 2-е и 3-е издания Сочинений В. И. Ленина были 30-томными.

Ведро мертвецкой водки (стр. 160). — Знамя, 1987, № 1.

«Вкладчик оползня...» (стр. 162). — Юность, 1987, № 11.

«Начинается расчет со Сталиным...» (стр. 163). — Альманах «Поэзия», вып. 57. М., 1990. Стихотворение явно навеяно новой волной критики культа личности, начавшейся на XXII съезде КПСС.

Вскрытие мощей (стр. 164). — Смена, 1971, № 21.

«Мариэтта и Маргарита...» (стр. 165). — Октябрь, 1988, № 2. В стихотворении говорится о поведении советских писательниц М. С. Шагинян (1888—1982), М. О. Алигер и О. Ф. Берггольц (1910—1975) во время встреч руководителей партии и страны с писателями в 1962 г.

Обращение к читателю (стр. 167). — Нева, 1982, № 7, без 16 последних строк. Полностью: *СРЛ*.

«Категориальное мышление...» (стр. 169). — Юность, 1987, № 11.

Запланированная неудача (стр. 170). — ДП, 1982, с редакторской купюрой в 4-й строфе. Полностью: БЗ.

«Воспитан в духе жадной простоты...» (стр. 171). — *СРЛ*. *Таня* — жена поэта Т. Б. Дашковская.

«Сласть власти не имеет власти...» (стр. 172). — Знамя, 1988, № 1. В стихотворении говорится о смещении Н. С. Хрущева с первых постов в государстве и партии; в то же время в последних его строках прозвучал знаменательный и точный прогноз предстоящей «брежневской» эпохи.

Обои (стр. 173). — Нева, 1987, № 2.

«Деревня, а по сути дела — весь...» (стр. 174). — *Судьба*.

«Плохие времена тем хороши...» (стр. 175). — Знамя, 1986, № 6.

«Десятилетье Двадцатого съезда...» (стр. 176). — Знамя, 1987, № 1. Как и все современники, Слуцкий связывал с XX съездом КПСС начало «великих сдвигов» в стране. К 1966 г.,

когда писалось стихотворение, уже воочию обозначился отказ от де- сталинизации.

Первый овощ (стр. 177). — Знамя, 1988, № 1.

«Девушки, достигнув восемнадцати...» (стр. 178). — Судьба. От курса краткого устали — имеется в виду не только «Краткий курс истории ВКП(б)», но и атмосфера четвертьвекового господства Сталина над страной и народом.

Валянье Ваньки (стр. 179). — Север, 1988, № 4.

Кнопка (стр. 180). — ДН, 1987, № 6.

«Разрывы авиабомб напоминают деревья...» (стр. 182). — Нева, 1988, № 1.

Судьба («Где-то в небе летит ракета...») (стр. 183). — Знамя, 1988, № 1.

«Будущее, будь каким ни будешь!..» (стр. 184). — Знамя, 1987, № 1.

Институт (стр. 185). — Знамя, 1988, № 1.

«Необходима цель...» (стр. 186). — ВЛ, 1967, № 1, без последней строфы. Полностью: СРЛ.

«В этот день не обходили лужи...» (стр. 187). — СРЛ.

«Пока меня за руки держат...» (стр. 188). — Дом под чинарами — 89. Сборник. Тбилиси, 1989.

«Я был плохой приметой...» (стр. 189). — Знамя, 1987, № 1.

«Пошуми мне, судьба, расскажи...» (стр. 190). — Огонек, 1988, № 17.

Сквозь мутное стекло окна (стр. 191). — Дом под чинарами — 89. Сборник. Тбилиси, 1989.

«Что нужно на дожитие тирану...» (стр. 192). — Печ. впервые.

«Вот она, отныне святая...» (стр. 193). — Дом под чинарами — 89. Сборник. Тбилиси, 1989.

«Игра не согласна...» (стр. 194). — БСП.

«Я в ваших хороводах отплясал...» (стр. 196). — Дом под чинарами — 89. Сборник. Тбилиси, 1989.

«Дайте мне прийти в свое отчаянье...» (стр. 197). — БЗ.

«Смолоду и сдуру...» (стр. 198). — Знамя, 1989, № 3.

«Эпоха закончилась. Надо ее описать...» (стр. 199). — Волга, 1988, № 8.

«Интересные своеобразные люди...» (стр. 200). — БЗ. *Весь, меря, чудь* — угро-финские племена, жившие на территории будущей Северо-Восточной Руси. Слуцкий употребляет эти слова как нарицательные, обозначая ими территории страны, которые некогда были под этими племенами.

«Поумнели дураки, а умники...» (стр. 201). — БЗ.

«Я вдруг заметил, что рассказы...» (стр. 202). — Печ. впервые.

Воспоминание о Павле Когане (стр. 203). — ДП, 1967. В *Сроках* отсутствовала строка: «гордый словно Польша». Павел Коган — П. Д. Коган (1918—1942), советский поэт, входил в кружок молодых московских поэтов (Слущкий, Самойлов, Кульчицкий, Наровчатов и др.). Погиб в боях под Новороссийском. *Строчкой из Багрицкого* — это строка из «Думы про Опанаса».

«Снова дикция — та, пропитая...» (стр. 206). — ДП, 1982.

«Сельвинский — брошенная зона...» (стр. 207). — БСП. И. Л. Сельвинский (1899—1968) был руководителем поэтического семинара в Литинституте и вел семинар поэтической молодежи при Гослитиздате в конце 30-х гг. Слущкий участвовал в работе обоих семинаров.

«Было много жалости и горечи...» (стр. 209). — Год за годом. Литературный ежегодник. Вып. 5. М., 1989. В стихотворении говорится о похоронах И. Г. Эренбурга. См. также в наст. томе стихотворение «Старшему товарищу и другу...».

«Покуда полная правда...» (стр. 210). — МК, 1988, 27 марта. В основе стихотворения — поэтическая и общественная деятельность поэта Е. А. Евтушенко.

«Когда маячишь на эстраде...» (стр. 211). — Знамя, 1988, № 1.

«Умер человек, не собиравшийся...» (стр. 212). — Человек, 1990, № 6.

«Самоубийство — храбрость труса...» (стр. 213). — БСП.

Порядок (стр. 214). — Знамя, 1989, № 3. О Н. А. Заболоцком (1903—1958), замечательном советском поэте, с которым Слущкого связывала недолгая дружба, Слущким написано несколько стихотворений (одно из них — «Заболоцкий спит в итальянской гостинице» — помещено в наст. томе) и воспоминания «Почти ничего» (ВЛ, 1989, № 10, с. 202—208).

«Самоубийцы самодержавно...» (стр. 215). — БЗ.

Мы с богом (стр. 216). — Печ. впервые.

«Пляшем, как железные опилки...» (стр. 217). — БЗ.

«Везло по мелочам...» (стр. 218). — Дом под чинарами — 89. Сборник. Тбилиси, 1989.

«Что-то дробно звенит в телефоне...» (стр. 219). — Комсомолец Татарии, 1990, 13 мая.

«Я связан со временем...» (стр. 220). — Печ. впервые.

«Несчастья — были. Умирали други...» (стр. 221). — Печ. впервые. Возможно, что это стихотворение вызвано первыми известиями о безнадежной болезни жены.

«О, волосок! Я на тебе вишу...» (стр. 222). — Неделя, 1989, № 5.

ГODOВАЯ СТРЕЛКА (1971)

Книга вышла осенью 1971 года (подписана в печать в мае). Она не имела разделов, однако внутри книги чувствовалось объединение стихотворений как по обычным для Слуцкого темам, так и по новым: таковой, например, была тема старости, убывания сил, подведения итогов.

Книга почти что не имела прессы. Нельзя сказать, что она осталась совершенно незамеченной критикой — о ней размышляли в обзорах поэзии, в уже упоминавшейся статье Н. Банк «Сопричастность времени» (Нева, 1972, № 6) наравне с «Современными историями» рассматривалась и «Годовая стрелка», — но все же серьезного внимания книга не удостоилась. Конечно, здесь сказалось, не могло не сказаться то, что уже много лет самые важные, самые животрепещущие, самые горячие стихи Слуцкого не публиковались в периодике и соответственно не попадали в книги, а это влекло за собой постепенно нарастающее читательское охлаждение к поэзии Слуцкого.

Тем не менее 20-тысячный тираж книги по-прежнему не залежался на прилавках и довольно быстро разошелся.

Годовая стрелка (стр. 225). — ГС.

«Как важно дерево в окне...» (стр. 226). — ГС.

«Я был молод. Гипотезу бога...» (стр. 227). — ДП, 1969.

«Человеческую жизнь (с деталями) ...» (стр. 228). — КП, 1967, 31 янв.

Возраст авиации (стр. 229). — ДП, 1969. В ГС исчезло двустушие, начинающееся словами: «Сначала губернии». Г. С. Сковорода (1722—1794) — украинский философ и писатель.

«Я найду к соседу, в ночь соседа...» (стр. 230). — ДП, 1968.

Силуэт (стр. 231). — НМ, 1970, № 11.

Легенды и факты (стр. 233). — ГС.

Все условия (стр. 234). — ГС.

Воспоминание о военной игре (стр. 236). — НМ, 1970, № 11.

- Первый день войны (стр. 238). — Там же.
- Сбрасывая силу страха (стр. 240). — *ФиС*, 1968, № 2 без заглавия. С заглавием: *ГС*.
- Надо, значит, надо (стр. 241). — Ленинское знамя (Лиски), 1970, 18 апр.
- Слава саперов (стр. 243). — *НМ*, 1970, № 11.
- Полный поворот дивизии (стр. 244). — Там же.
- Судьба детских воздушных шаров (стр. 246). — Юность, 1970, № 5.
- Военный уют (стр. 248). — *ГС*.
- Ровно неделя до Победы (стр. 250). — *ГС*.
- «Есть!» (стр. 251) — *ДП*, 1969. В Пионере, 1970, № 7 без 3-й строфы.
- Выбор («Выбираешь, за кем на край света...») (стр. 252). — *ГС*.
- Старик (стр. 253). — *ГС*, без заглавия и без 6 строк начинающая с «— Это слыхивал я от Стасова!» и кончая «этой стасовской близи — мне!», явно показывающими, что речь идет о поэте С. Я. Маршаке (1887—1964). Полностью печ. впервые. *Лудовико Ариосто и Торквато Тассо* — итальянские поэты XV—XVI вв., *Боян* — легендарный поэт Киевской Руси XI—XII вв.
- Чаевые (стр. 255). — *ГС*.
- Время людей (стр. 256). — *ГС*.
- «Какие споры в эту зиму шли...» (стр. 257). — Сибирские огни, 1968, № 12.
- «Руки опускаются по швам...» (стр. 258). — *ГС*, без 2-х последних строф. Полностью: *БК*.
- «Хорошо ушел. Не оглянулся...» (стр. 259). — *ГС*.
- Терпенье («Привычка привыкать...») (стр. 260). — *НМ*, 1970, № 11. С небольшим изменением: *ГС*.
- «День был душный, а тон был пошлый...» (стр. 261). — *ГС*, первые 8 строк. Полностью печ. впервые.
- «Говорить по имени, по отчеству...» (стр. 262). — *ГС*.
- Пророки и прогнозисты (стр. 263). — *ГС*.
- «Снова закрипела ось земная...» (стр. 264). — Смена, 1967, № 12.
- «Эта женщина молода. Просто она постарела...» (стр. 265). — Юность, 1969, № 4.
- Неинтересно (стр. 266). — *ГС*.
- «Своим стильком плетения словес...» (стр. 267). — Юность, 1971, № 9.
- Полоса неудач (стр. 268). — *ФиС*, 1971, № 2.
- Елка (стр. 269). — *ГС*.
- Без меня («Ohne mich!...») (стр. 271). — *ГС*.

Польза привычек (стр. 273). — ГС.

Последнее поколение (стр. 274). — НМ, 1970, № 11, без посвящения. С посвящением: ГС.

Автомат (стр. 275). — ГС.

«Нет, не телефонный — колокольный...» (стр. 276). — ГС.

Солидно! (стр. 277) — ГС.

Два года в больницах (стр. 278). — ГС. Два года с промежутками — с 1946 по 1948 г. — Слуцкий провел в московских и харьковских больницах, перенес две трепанации черепа, излечиваясь от нестерпимой головной боли, истязавшей его и не дававшей возможности работать.

Колокола (стр. 280). — ДП, 1970.

Ни к чему! (стр. 281) — Одновременно: ГС и Москва, 1971, № 10. *Махан, маханина* — конина, конское мясо.

Испанцы в изгнании (стр. 283). — ГС, без последней строфы. Полностью печ. впервые. После победы генерала Франко над Испанской Республикой в 1939 г. в СССР эмигрировало много испанцев, сражавшихся на стороне Республики.

«Брата похоронила, мужа...» (стр. 284). — ГС, с редакторской правкой. Неискаженный текст печ. впервые.

Вечер забытых поэтов (стр. 285). — ГС. *Митрейкин, полвека хранимый в ругательстве гения*. — Имеются в виду известные строки В. Маяковского из поэмы «Во весь голос»: «Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки — кто их к черту разберет!» Однако, описывая задним числом «вечер забытых поэтов», Слуцкий совершил ошибку, явно перепутав умершего в 1934 г. К. Н. Митрейкина с А. А. Кудрейко (1907—1984), жившим и печатавшимся в 60-е гг.

Перепохороны Хлебникова (стр. 286). — НМ, 1970, № 11. *В. В. Хлебников (1885—1922)* — русский поэт. Перепохороны праха Хлебникова происходили в 1960 г.

«До чего же женщины живучи!..» (стр. 288). — ГС.

Поэт (стр. 289). — ДН, 1968, № 11.

«Которые историю творят...» (стр. 290). — ГС.

Чужой дом (стр. 291). — ДП, 1970. После смерти И. Г. Эренбурга в 1967 г. Слуцкий некоторое время провел в его доме, помогая разбирать архив. Впечатления от этого времени отразились в стихотворении.

«Старость — равнодушие. Постепенно...» (стр. 292). — ГС.

Линии железных дорог (стр. 293). — Кругозор, 1969, № 12, без заглавия. С заглавием: ДП, 1970.

Либо синхронно, одновременно, либо вслед за мировоззренческим переломом у Слуцкого происходил перелом творческий. Основываясь на опыте своего старшего друга Леонида Мартынова и Назыма Хикмета, чей цикл стихов «Письма из тюрьмы» Слуцкий переводил, поэт все чаще обращается к жанру стихотворной дневниковой записи, фиксирующей и жизненное наблюдение, и описание события, и портрет давнего знакомого или только что встреченного человека, и воспоминание, и размышление по поводу политических, общественных, психологических, даже экономических процессов эпохи, и собственное душевное состояние, отдавая дань крупному, но не брезгуя и якобы мелким. Но поскольку ум, сердце и душа Слуцкого были непрестанно обращены к судьбам страны и мира, в большинстве случаев даже мелкие жизненные наблюдения включались им в цепь больших и значительных событий и явлений и под его пером обращались в символы и знаки, выражающие век.

К сожалению, читатель лишен был возможности видеть всю гамму, весь спектр раздумий Слуцкого. Только сейчас до нас доходит — и то не вдруг, а постепенно — вся движущаяся картина времени, исподволь создаваемая поэтом.

«Уже хулили с оговоркой...» (стр. 294). — ДН, 1987, № 6.

«В утиль меня сдали. Копейки по две...» (стр. 295). — СРЛ.

«Отбиваться лучше в одиночку...» (стр. 296). — Нева, 1988, № 1.

«От отчаяния к надежде...» (стр. 297). — Юность, 1987, № 11.

«Учтя подручный матерьял...» (стр. 298). — НМ, 1986, № 7.

«Мои друзья не верили в меня...» (стр. 299). — Знамя, 1986, № 6.

«Прорывая ткань покрыва...» (стр. 300). — ДН, 1987, № 6.

Сдерживанье недовольства (стр. 301). — СРЛ.

Черная икра (стр. 302). — ДН, 1987, № 6.

«— Не!» (стр. 303) — Октябрь, 1988, № 2.

Причины одной любви (стр. 304). — Нева, 1988, № 1, без заглавия. С заглавием: Судьба.

«Дома-то высокие! Потолки...» (стр. 305). — Судьба.

Ремонт пути (стр. 306). — Волга, 1988, № 8.

«В промежутке в ожиданьи электрички...» (стр. 307). — Альманах «Поэзия», вып. 48. М., 1987.

Реперунизация (стр. 308). — ДН, 1987, № 6, без заглавия. С заглавием: *СРЛ. Перун* — главное языческое божество древних славян. Деревянные идолы Перуна и других языческих богов были утоплены в Днепре во время крещения князем Владимиром Святым киевлян в 990 г. Стихотворение иносказательно говорит о процессе реабилитации Сталина и сталинщины, происходившем во второй половине 60- и в 70-х гг.

Что почем (стр. 309). — Собеседник (Горизонт), 1988, № 2.

«Люблю антисемитов, задарма...» (стр. 311). — Знамя, 1988, № 1.

Тени костра (стр. 312). — Аврора, 1987, № 5.

Мещанское счастье (стр. 313). — СМ, 1986, № 1.

«На пророка бывает проруха...» (стр. 314). — Альманах «Поэзия», вып. 44. М., 1986.

«Воспоминаний вспомнить не велят...» (стр. 315). — Знамя, 1987, № 1.

Старые офицеры (стр. 316). — Знамя, 1988, № 1.

Немка (стр. 318). — Собеседник (Горизонт), 1988, № 2. Осенью 1941 г. производилось выселение людей немецкой национальности не только из упраздненной Автономной Республики немцев Поволжья, но со всей европейской территории СССР.

«Расстреливали Ваньку-взводного...» (стр. 320). — Знамя, 1988, № 1. *Лета* — в древнегреческой мифологии река в царстве мертвых, в более широком смысле — символ забвения.

По рассказу Л. Волынского (стр. 321). — *СРЛ. Л. Н. Волинский* (1913—1969) — советский писатель, автор документальной повести «Семь дней» о спасении Дрезденской галереи советскими войсками. *И. Е. Петров* (1896—1958) — советский военачальник, руководитель войсковых соединений и фронтов в Великой Отечественной войне. *Д. Каналетто, В. Ван Гог, Рафаэль Санти* — живописцы, чьи полотна были среди шедевров Дрезденской галереи, самым замечательным из которых была «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

Сельское кладбище (*Элегия*) (стр. 324). — СМ, 1988, № 1.

Астрономия и автобиография (стр. 323). — БО.

Сельское кладбище (*Элегия*) (стр. 324). — СМ, 1988, № 10.

«Иллюзия давала стол и кров...» (стр. 325). — БСП.

«Отлежали свое в окопах...» (стр. 326). — БСП.

«Это — мелочи. Так сказать, блохи...» (стр. 327). — Октябрь, 1988, № 2.

«Жгут архивы, К большим переменам...» (стр. 328). — БСП.

- Край земли (стр. 329). — Веч. Казань, 1990, 20 марта.
- «Люди сметки и люди хватки...» (стр. 330). — *НМ*, 1987, № 10.
- «Не верю в величие величины...» (стр. 331). — *Огонек*, 1987, № 7.
- «Сидя на полу...» (стр. 332). — *БК*.
- Мадонна и Богородица (стр. 333). — *БЗ*,
- «Жалкие символы наши...» (стр. 334). — *Знамя*, 1989, № 3.
- Пределы разумного (стр. 335). — Печ. впервые.
- «Хан был хамом, большим нахалом...» (стр. 336). — Печ. впервые. *Саади* — персидский поэт и мыслитель XIII в.
- Все течет, ничего не меняется (стр. 337). — *ДН*, 1988, № 11. *Гераклит и Демокрит* — древнегреческие философы.
- И. Кант* (1724—1804) — немецкий философ-идеалист.
- «Цель оправдывала средства...» (стр. 338). — *ДН*, 1988, № 11.
- Наследство (стр. 339). — *Нева*, 1989, № 5.
- «Черта под чертою. Пропала оседлость...» (стр. 340). — *Лит. Грузия*, 1985, № 2, с приданным редакцией для отвода глаз цензуре заглавием «Анафема врагам мира на земле» и с заменой слова «партийцы» на «артисты». В неискаженном виде: *СРЛ. Мстиславские и Шуйские* — старинные и разветвленные боярские роды, расточившиеся в результате опал Ивана Грозного, Бориса Годунова и перипетий Смутного времени.
- Случай («Торопливо взглядывая на небо...») (стр. 341). — *ДН*, 1988, № 11.
- «Круги на воде...» (стр. 342). — Печ. впервые.
- «Неча фразы подбирать...» (стр. 343). — *БСП*.
- Хорошая смерть (стр. 344). — *БСП*.
- «Как жалко он умирал! Как ужасно...» (стр. 345). — *Человек*, 1990, № 6.
- Национальная особенность (стр. 346). — Год за годом. Литературный ежегодник. Вып. 5. М., 1989.
- «Долголетье исправит...» (стр. 347). — *Нева*, 1989, № 5.
- Хвала Гулливеру (стр. 348). — Веч. Харьков, 1989, 19 дек.
- Философия и жизнь (стр. 349). — *СМ*, 1988, № 10.
- «Екатерининский солдат...» (стр. 350). — Печ. впервые.
- Технари (стр. 351). — Печ. впервые.
- «Человек состоит из способности и потребности...» (стр. 352). — *МК*, 1988, 27 марта.
- «Самоутверждайся, человек!..» (стр. 353). — *БК*,

Шильонский замок — в его подземелье был заточен швейцарский политический деятель Бонивар за участие в восстании женеvских горожан (1530) против герцога Савойского; великий английский поэт *Д. Г. Байрон* (1788—1824) посвятил этому свою поэму «Шильонский узник». *В. Гюго* (1802—1885) — французский поэт, прозаик и драматург, *П. Б. Шелли* (1792—1822) — английский поэт и драматург.

Черные брови (стр. 355). — Юность, 1989, № 6.

«Вот и проросла судьба чужая...» (стр. 356). — ЛГ, 1986, 3 сент. Одно из немногих стихотворений поэта, обращенных к Т. Б. Дашковской при ее жизни.

Татьяна, Наталья (стр. 357). — Печ. впервые.

«Интеллигентные дамы плачут, но про себя...» (стр. 358). — Волга, 1988, № 8.

«Что думает супруга дорогая...» (стр. 359). — БЗ.

Глухое чувство справедливости (стр. 360). — БСП.

«Как выглядела королева Лир...» (стр. 361). — Юность, 1989, № 6.

«Темницы двадцатого века...» (стр. 362). — Печ. впервые.

«Я рос и вырос в странной стране...» (стр. 363). — Неделя, 1989, № 5.

Приметы (стр. 364). — Печ. впервые.

Необходимость пророка (стр. 365). — ДН, 1983, № 11, без заглавия и 1-й строфы. Полностью: СРЛ.

«Куда-то в детство поезда ушли...» (стр. 366). — ЛГ, 1986, 3 сент.

Двадцатые годы (стр. 367). — Искусство Ленинграда, 1989, № 5.

«Писали по-сверхчеловечьи...» (стр. 368). — Согласие, 1990, № 1.

«Я помню твой жестоковыйный нор...» (стр. 369). — Юность, 1986, № 8.

«Я с той старухой хладновежлив был...» (стр. 370). — ЛО, 1988, № 6. Героиня стихотворения — А. А. Ахматова.

«Заученный, зачитанный...» (стр. 371). — Печ. впервые.

«Как пушкинский рисунок на полях...» (стр. 372). — БСП.

«Я, рожденный в сорочке, сорочку...» (стр. 373). — Печ. впервые.

«Я слишком знаменитым не бывал...» (стр. 374). — Волга, 1988, № 8. В двух городах — и Праге, и Саратове. — В Че-

хословакии очень любили Слуцкого, всегда тепло встречали, считали его одним из крупнейших поэтов XX в., щедро печатали его стихи в литературной периодике и в антологиях, но первая книга на чешском языке вышла в 1985 г. (в 1961 г. в Братиславе вышла первая зарубежная книга Слуцкого — переведенная на словацкий язык книга «Время»); в Саратове в 60-е гг. сложился кружок людей, высоко ценивших поэзию Слуцкого, постоянно интересовавшихся его творчеством, наладивших с ним связь и получивших возможность знакомиться с его неопубликованными стихами, в этом кружке было собрано несколько самиздатских сборников Слуцкого.

«Стих, как будто почвы Подмосковья...» (стр. 375). — Печ. впервые.

«Возвышала душу поэзия.» (стр. 376). — Печ. впервые.

«Действительность в строку не помещалась...» (стр. 377). — В мире книг, 1988, № 7.

Смывка киноплёнки (стр. 378). — Юность, 1984, № 7. Стихотворение навеяно воспоминаниями о фильме М. Калатозова «Летят журавли», который Слуцкий очень любил.

ДОБРОТА ДНЯ (1973)

«Доброта дня» была единственной книгой Слуцкого, которой было предпослано автопредисловие, «Слово к читателю». В нем поэт писал:

«Стихи, составившие книгу, написаны преимущественно после 7 мая 1969 года. В этот день автору стукнуло 50 лет. Такую дату приходится и продумывать и прочувствовать. Хотя бы потому, что «и погромче нас были витии», а шестой десяток распечатывали очень редко.

Приходится описывать целый возраст, до которого люди вообще, а поэты — особенно, прежде доживали нечасто. А теперь — доживают.

В пятьдесят лет спешить не хочется. В то же время понимаешь, что торопиться — надо.

Хочется быть добрее, терпимее. Из этого желания выросло название книги «Доброта дня». В то же время на злобу дня реагируешь с все возрастающим нетерпением.

Хочется закончить все начатое. Все то, что осталось в черновиках.

Читатель рассудит, отразились ли в книге мои желания и сдерживающие их размышления. (...)

Книга выходит в издательстве, заимствовавшем у Пушкина и Некрасова славное имя «Современник». На то есть веские при-

чины: пишу ли я о доброте дня или о его злобе, речь всегда идет о дне сегодняшнем или вчерашнем.

Поэту трудно не быть реалистом. Война, пересоздавшая мое поколение по своему образу и подобию, была реалистичной. Жизнь тоже реалистична. Иногда война и жизнь расплываются в романтике или сплываются в большие символы. Это тоже хочется описать (...)».

Видимо, не случайно в предисловии дважды был упомянут Некрасов (один раз — цитатой) и единожды Пушкин. На недолгие оставшиеся Слуцкому годы для творчества эти два великана русской литературы были для поэта главными путеводными маяками.

Книга была подписана к печати в сентябре 1973 года и вышла 25-тысячным тиражом в самом конце его, буквально перед Новым годом. Она состояла из пяти неозаглавленных разделов. Нечаянно в ней остались следы редакторско-издательского произвола: в предисловии говорилось о шести стихотворных циклах, включенных в нее, на деле же их оказалось только три: о море, о снеге, о стариках, — циклы о русских художниках, о войне, о русских поэтах, видимо, так «похудели» после вмешательства, что их пришлось разобрать.

Единственная посвященная «Доброте дня» рецензия Л. Лазарева «Предварительные итоги» (ЛО, 1974, № 10) говорила в связи с выходом новой книги о всем творчестве поэта.

«Интеллигентнее всех в стране...» (стр. 381). — Наш современник, 1967, № 5.

Трактора и автомобили (стр. 382). — ДД.

Судьба («Судьба — как женщина судья...») (стр. 383). — ДД.

Привязчивая мелодия (стр. 384). — Смена, 1972, № 23.

Поцелуй в темноте (стр. 385). — ДД.

О борьбе с шумом (стр. 386). — ДП, 1972.

Косые линейки (стр. 387). — Смена, 1971, № 21. О ком конкретно говорится в этом стихотворении, установить не удалось. Вообще же Слуцкий принимал участие в судьбе многих московских и провинциальных молодых поэтов: проталкивал их стихи в печать, писал «врезки» к публикациям, публиковал рецензии на первые книги, помогал внутренними одобрительными рецензиями прохождению книг в издательствах. Список поэтов, осененных его участием, занял бы слишком много места.

Перевожу Брехта (стр. 390). — ДН, 1971, № 5, без последней строки. После строки «непросто дверь тугую отворить» в журнале следовала строфа:

Не поддается Брехт, словно Берлин,
Неужто в самом деле отобьется?
А я в него гоню за клином клин,
а он не поддается,
не сдастся.

Слуцкий много и охотно переводил немецкого поэта и драматурга Бертольда Брехта (1898—1956) — не только стихи, но и пьесу «Горации и Куриации», писал зонги к знаменитому спектаклю Ю. П. Любимова «Добрый человек из Сезуана». Одним из его неосуществившихся планов было перевести и издать большую книгу стихов Б. Брехта в серии «Литературные памятники».

Блик (стр. 391). — Труд, 1973, 18 февр.

«Смешливость, а не жестокость...» (стр. 393). — ДД.

Заболоцкий спит в итальянской гостинице (стр. 394). — Юность, 1971, № 9. Видимо, написано во время работы над так и не законченными воспоминаниями о Н. А. Заболоцком для мемуарного сборника. Здесь отразились впечатления от совместной поездки в 1957 г. в Италию в составе делегации советских поэтов.

Тоня Калачева (стр. 396). — ДД.

Со всех языков (стр. 397). — ДД. *Растињяк* — персонаж нескольких романов французского писателя О. Бальзака из цикла «Человеческая комедия».

Негритенок (стр. 399). — ДД.

Молодята (стр. 401). — Юность, 1972, № 5.

Подполковник (стр. 402). — Одновременно: Смена, 1965, № 3 и Знамя, 1965, № 2. В ДД посвящение отсутствует.

Соловьев с Ключевским (стр. 403). — ДН, 1973, № 5, в последней строфе отсутствовали 2, 4 и 5 строки. С. М. Соловьев (1820—1879) и В. О. Ключевский (1841—1911) — русские историки, авторы многотомных курсов русской истории. В первые послереволюционные годы был переиздан только «Курс русской истории» Ключевского, «История России с древнейших времен» Соловьева переиздана лишь в 60—70-е гг.

Тезки (стр. 404). — Юность, 1972, № 5.

Отец (стр. 405). — Юность, 1971, № 9. В рукописи после опубликованного текста запятая и строка «и тихо заплакал».

«О, первовпечатленья бытия!..» (стр. 407). — ДН, 1973, № 5.

И гром и молния (стр. 408). — ДД.

Молча смотрю на солнце (стр. 409). — ДД.

Волнорез (стр. 410). — ДД, в цикле «Море».

Музыка с прибрежных кораблей (стр. 411). — Смена, 1971, № 21. В ДД включено в цикл «Море».

На «диком» пляже (стр. 413). — Неделя, 1970, № 51, под заглавием «Море». В ДД включено в цикл «Море». «Голая маха» — картина испанского художника Ф. Гойи (1746—1828).

Пурга над асфальтом (стр. 414). — ДД, в цикле «Снег».

Первый снег (стр. 415). — ДД, в цикле «Снег».

Зимняя Ялта (стр. 416). — ДД, в цикле «Снег».

Полуночное шоссе (стр. 417). — ДД. *Ориноко* — река в Южной Америке.

«У всех мальчишек круглые лица...» (стр. 418). — ЛГ, 1973, 14 марта.

Мой дождь, мой день (стр. 419). — ДД.

Желание (стр. 420). — ЛГ, 1973, 14 марта. В ДД с изменениями.

Подшивки (стр. 421). — ДД.

Как растаскивается пробка? (стр. 423) — ДН, 1973, № 5. В ДД с дополнением.

Скандал сорок шестого года (стр. 425). — Север, 1973, № 10.

Послевоенное бесптичье (стр. 426). — НМ, 1970, № 11, под заглавием «Бесптичье».

Фотографии моих друзей (стр. 427). — Юность, 1972, № 5.

Глаза детей (стр. 428). — Пионер, 1972, № 1.

Варшавянки (стр. 429). — Юность, 1972, № 5.

Моя средняя школа (стр. 430). — Юность, 1971, № 9.

Ленка с Дунькой (стр. 431). — ДД.

Три столицы (Харьков — Париж — Рим) (стр. 432). — Смена, 1973, № 24. *Людовик XVI* — французский король, вместе с женой, королевой Марией-Антуанеттой, по приговору революционного Конвента казнен в 1793 г. *Шарлотта Корде* — в 1793 г. убила одного из вождей французской буржуазной революции Ж. П. Марата. *М. Робеспьер* (1758—1794) — глава якобинцев, вождь французской революции на ее заключительном этапе. *Плутарх* — см. примечание к стихотворению «Полезное дело».

Старшему товарищу и другу...» (стр. 434). — ДД. Еще раз Слуцкий обращается к описанию похорон И. Г. Эренбурга.

Не обойди! (стр. 435) — ДД.

Красавица (стр. 436). — Юность, 1972, № 5. В ДД с изменениями.

Удобства (стр. 438). — ДД, в цикле «Девять точек зрения на старость».

Молодость и старость (стр. 439). — ДД, в цикле «Девять точек зрения на старость».

Досрочник (стр. 440). — ДД, в цикле «Девять точек зрения на старость».

Шуба (стр. 441). — Лит. Азербайджан, 1973, № 2. В ДД в цикле «Девять точек зрения на старость».

Не выбрал времени (стр. 442). — Альманах библиофила, вып. 1. М., 1973. В ДД в цикле «Девять точек зрения на старость». И. Н. Розанов (1874—1959) — исследователь русской поэзии, книговед, собравший уникальную библиотеку русской авторской и народной поэзии.

Начинается... (стр. 443) — ДД, в цикле «Девять точек зрения на старость».

Поверка (стр. 444). — ДД, в цикле «Девять точек зрения на старость». В ПП вне циклов, под заглавием «Лучше быть молодым».

Метод (стр. 445). — ДД. Это стихотворение — одно из точнейших изложений творческого кредо Слуцкого.

«Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей...» (стр. 446). — ВЛ, 1972, № 9. В ДД с изменением.

«Пограмотней меня и покультурней!...» (стр. 447). — ДД.

«Самые лучшие люди из тех, что я знал, не хотели...» (стр. 448). — ДД. Пастель — специальные мягкие цветные карандаши для живописи, а также живопись этими карандашами.

Боль в глазах (стр. 449). — ДД. Слуцкий вспоминал о своем отрочестве: «Впервые в жизни глаза заболели у меня после целосуточного переписывания Есенина с полученной на одни сутки книги» (ВЛ, 1989, № 10, с. 172).

Старые рифмы (стр. 450) — Смена, 1967, № 12. В ВЛ, 1972, № 9, и ДД с изменениями.

Какне лица у поэтов (стр. 451). — Москва, 1971, № 10. Ксения Некрасова — см. примечание к стихотворению о ней (т. 1 наст. изд.).

Ямбы (стр. 452). — ВЛ, 1972, № 9. Атика — одно из древнегреческих государств с центром в Афинах.

Хорошо! (стр. 453) — ДН, 1973, № 5.

Л. Лазарев не случайно назвал свою рецензию на «Доброту дня» — «Предварительные итоги». Мотив подведения итогов действительно ощущался в книге, еще сильнее он будет звучать в следующих книгах Слуцкого. Все же для поэта важнее всего было, что они предварительные (он даже подчеркивает это в «Продленном полдне», сказав: «Предварительны все итоги»), что «есть время еще

исправиться», что не только можно, но и необходимо продолжать движение, рост. Что если прежние истины изменили ему или он оставил их на обочине, то нужно искать новые истины, торить к ним дорогу для себя и для остальных людей.

Но, во-первых, от старых идеалов не просто было освободиться: с ними было связано многое в жизненном опыте, они крепко вросли в сознание. Эту очистительную работу Слуцкому предстояло вести еще долго, все оставшиеся ему для творчества годы.

А во-вторых, далеко не все из того, что составляло основу мировоззрения Слуцкого, должно было быть отвергнуто или подвергнуто переоценке. В силе оставались такие духовные ценности, как демократизм, любовь к свободе, милосердное внимание к людям, русская литература с ее словом и ее заветами, святая память о днях и годах войны и еще многое другое. Все это служило компасом на последующем творческом пути.

В этой атмосфере отрицания, очищения и поисков рождались новые и новые стихи Слуцкого. Пусть многое не печаталось, но оно ложилось на листы рабочих тетрадей в ожидании будущих перемен, хоть надежды на них у поэта в то время почти не оставалось.

«Начинается давность для зла и добра...» (стр. 454). — *Огонек*, 1987, № 7.

Советская старина (стр. 455). — *Знамя*, 1988, № 1. *Эсперанто* — самый известный и распространенный из искусственно созданных международных языков. *Осоавиахим* — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, функционировавшее в СССР с 1927 по 1948 г.

«Покорение поколения...» (стр. 456). — Печ. впервые.

«Хватило на мой век...» (стр. 457). — *ЛО*, 1988, № 6.

«Мировая мечта, что кружила нам голову...» (стр. 458). — *БО*.

«Бог был терпелив, а коллектив...» (стр. 459). — *ЛО*, 1988, № 6.

«Несподручно писать дневники...» (стр. 460). — *Известия*, 1988, 9 сент.

«За три факта, за три анекдота...» (стр. 461). — *ДН*, 1988, № 11, под заглавием «Четвертый анекдот».

«Покуда еще презирает Курбского...» (стр. 462). — *БСП*.

Восточные мудрецы и восточные умники (стр. 463). — *БСП*.

«Богатому кажется: бедному проще...» (стр. 464). — Альманах «Поэзия», вып. 44. М., 1986,

- «В революцию, типа русской...» (стр. 465). — *БО*.
Лейтенант *П. П. Шмидт* (1867—1906) — руководитель восстания на крейсере «Очаков» в 1905 г., расстрелян.
- «То ли мята...» (стр. 466). — *Аврора*, 1988, № 8.
Правота (стр. 467). — *ЛГ*, 1988, 25 мая.
- «Жестокие пословицы Руси...» (стр. 468). — Печ. впервые.
- «— Люди! Любите друг друга!..» (стр. 469). — Печ. впервые.
- Преимущества и недостатки объема (стр. 470). — *Наш современник*, 1991, № 2.
- «История утомила природу...» (стр. 471) — Печ. впервые.
- Евгений* (стр. 472). — *ДН*, 1987, № 6. *Евгений* — персонаж поэмы А. С. Пушкина «Медный Всадник». *Левиафан* — по библейскому сказанию, огромное морское чудовище или летающий дракон; в нарицательном смысле — некто огромный, страшный.
- «Горлопанили горлопаны...» (стр. 474). — *СРЛ*.
Обе стороны письменного стола (стр. 475). — *НМ*, 1987, № 10.
- «Половина лавины...» (стр. 476). — *Юность*, 1987, № 11.
- Ошибки Гегеля (стр. 477). — *СРЛ*. *Г. В. Ф. Гегель* (1770—1831) — немецкий философ. *Сократ* (V—IV вв. до н. э.) — древнегреческий философ.
- «Знак был твердый у этого времени...» (стр. 478). — *ДН*, 1987, № 6. *Ижица, фи́та* — буквы русского алфавита, изъятые из употребления после Октябрьской революции.
- Названия и переименования (стр. 479). — *Знамя*, 1988, № 1.
- «Строго было...» (стр. 481). — *ДН*, 1987, № 6, с редакторской правкой, искажающей смысл. Неискаженный текст: *БО*.
- «— Руки у Венеры обломаем...» (стр. 482). — *Знамя*, 1987, № 1.
- «Последний был в отмену предпоследних...» (стр. 483). — *СРЛ*.
- «Ничего!» (стр. 484) — *Знамя*, 1987, № 1.
- Размол кладбища (стр. 485). — *Нева*, 1988, № 1.
- Послевоенные выставки (стр. 487). — *Знамя*, 1986, № 6.
- Баба Маня* (стр. 489). — *СРЛ*.
- Недодача* (стр. 490). — *Знамя*, 1987, № 1.
- Горожане* (стр. 491). — *Нева*, 1983, № 12.
- Грешницы* (стр. 493). — *ЛО*, 1988, № 6.
- Проступающее детство* (стр. 494). — *МК*, 1984, 30 сент.

Памяти одного врага (стр. 495). — *СМ*, 1986, № 1, без последней строфы. Полностью: *СРЛ*.

Сила слова (стр. 496). — *Аврора*, 1987, № 5.

Седые брови (стр. 497). — Альманах «Поэзия», вып. 44. М., 1986.

Совесть (стр. 498). — *Знамя*, 1987, № 1.

Не за себя прошу («За себя никогда никого не просил...») (стр. 499). — *НМ*, 1979, № 5.

«Какие они, кто моложе меня...» (стр. 500). — *ДП*, 1982.

«Может, этот молодой...» (стр. 501). — *ДН*, 1987, № 6.

Слава («Местный сумасшедший, раза два...») (стр. 502). — *СРЛ*.

Знаешь сам! (стр. 503). — *Юность*, 1981, № 8.

«Не домашний, а фабричный...» (стр. 504). — *Знамя*, 1988, № 1.

Происхождение (стр. 505). — *Знамя*, 1986, № 6.

В рифму (стр. 506). — *ВЛ*, 1987, № 2.

Азбука и логика (стр. 507). — *НМ*, 1983, № 8.

Битье в грудь (стр. 508). — Альманах «Поэзия», вып. 48. М., 1987.

«Иду домой с собрания...» (стр. 509). — *Нева*, 1989, № 5.

«Когда ругали мы друг друга...» (стр. 510). — *БЗ*.

Вместо некролога (стр. 511). — *БСП*.

Ритм (стр. 513). — *БСП*.

«Много псевдонимов у судьбы...» (стр. 514). — *Смена*, 1988, № 21.

«Смерть — единственная управа...» (стр. 515). — *БСП*.

Случай («Этот случай спланирован в крупных штабах...») (стр. 516). — *БСП*.

Профессия (стр. 517). — *Нева*, 1988, № 1.

«Голоса не дал Господь и слова...» (стр. 518). — *Знамя*, 1988, № 1.

«На русскую землю права мои невелики...» (стр. 519). — Калинингр. комсомолец, 1988, 5 нояб.

«Арьергардные бои...» (стр. 520). — Печ. впервые.

Сам встаешь (стр. 521). — *СМ*, 1983, № 6, с редакторским искажением. Неискаженный текст: *БСП*.

Необходимость горя (стр. 522). — *ДН*, 1980, № 5.

Надежды (стр. 523). — *БСП*.

Краткосрочный отпуск (стр. 524). — *МК*, 1988, 27 марта.

Отечество и отчество (стр. 525). — *ДН*, 1988, № 11.

В. А. Смирнов (1905—1979) — советский прозаик, в разное время секретарь правления СП СССР, редактор «ДН».

«Терплю свое терпение...» (стр. 526). — БЗ.

«Немедленная справедливости!..» (стр. 527). — Печ. впервые. *Рица* — озеро в Грузии.

Критерии (стр. 528). — Печ. впервые.

Пой, жаворонок (стр. 529). — Пионер, 1990, № 11.

Как проехать к воздушному замку (стр. 530). — Пионер, 1972, № 3.

«Я теперь не прошедшее — давно прошедшее...» (стр. 531). — Печ. впервые.

«— Как ты смеешь? Как ты можешь? Что ты хочешь?..» (стр. 532). — БЗ.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ. 1961—1972

РАБОТА (1964)

21 июня	7
С. П. Седов	8
Солнечные батареи	10
«Пишите как следует...»	11
Сэм Симкин	13
О книге «Память»	14
К дискуссии об Андрее Рублеве	15
«Председатель земного шара...»	16
«Был обыкновенный день поэзии...»	17
На смерть Асеева	18
«Пора заканчивать стихи...»	19
Не винтиками были мы	20
Музшкола имени Бетховена в Харькове	21
Ресторан	23
«В маленькую киношку...»	25
Старуха в окне	26
Политрук	27
9-го Мая	28
Как убивали мою бабу	29
«Все слабели, бабы — не слабели...»	31
«Полиция исходит из простого...»	32
«В бесплацкартном, некупированном...»	33
Тридцатые годы	34
Как меня не приняли на работу	35
Добро	36
Большой порядок	37
Очки («—Подкеросинь ему пивко...»)	38
«Где-то струсил. Когда — не помню...»	40
Березка в Освенциме	41
«Умирают отцы и матери...»	42

«Все время думаю, что мне уже пошел сорок второй...»	43
«Мои старые юные фотографии...»	44
«Юность — аванс. Дается всем...»	45
«Покуда над стихами плачут...»	46
«Июнь был зноен. Январь был зябок...»	47
Паяц	48
Разговор	49
«Два оклада выдают за два...»	50
«—После лагеря ссылку назначили...»	51
«Из буфета пахло — избуфетным...»	52
«Тайпы вызывались поименно...»	53
«Мягко спали и сладко ели...»	54
«Шаг вперед!..»	55
«У меня было право жизни и смерти...»	56
Объяснение	57
Лирики и физики	58
«Стихи заводятся от сырости...»	59
«Инфаркт, инсульт, а если и без них...»	60
«Иностранцы корреспонденты...»	61
«У великих людей на могильных камнях...»	62
«Просторечие. Просто речь...»	63
«Критики меня критиковали...»	64
«Благодарю за выволочки...»	65
Историки былых веков	66
Многовариантность истории	67
«Пришла пора, бороды уставя...»	68
Пересуд («Ворошат слезавшиеся вороха. Уже...»)	69
Законные требования человечества	70
Полезное дело	71
«Что за необычная зима!..»	72
«Жалко молодого президента...»	73
«Все было на авосе...»	74
«Единогласные голосования...»	75
Сын негодяя	76
«Полюбил своей хладной душой...»	78
«А ты по-прежнему точен...»	79
«Женщины, с которыми — ты...»	80
«Современность, нынешность, сегодняшность...»	81
«Расставляйте покрепче локти-ка...»	82
«Совесть, как домашняя собака...»	83
«Старая записная книжка!..»	84
«Вода бывает чистая, грязная, горькая, горячая...»	85
«Не верю, что жизнь — это форма...»	86

СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИИ (1969)

«Россия увеличивала нас...»	89
«Брали на обед по три вторых...»	90
«Целый класс читает по слогам...»	91
Московские рабочие	92
Страх	93
«Если вся рота идет не в ногу...»	94
Кругосветный путешественник	95
«Женщина заплакала. У нее...»	97
Сколько платят поэтам	98
Пластинка	100
«В эпоху такого размаха...»	101
Духовые оркестры	102
Мои товарищи	103
Просьбы	104
Псевдонимы	105
«В поэзии есть ангелы и люди...»	107
«Поэта подбирают...»	108
Холсты Акопа Коджояна	109
«Ответственные повествования...»	111
«Когда откажутся от колеса...»	112
Слова, слова	113
Рейд	114
Кропотово	116
Роман Толстого	117
Переправа	119
Высвобождение	121
Двести метров	122
День Победы в Альпах	123
Маршал Толбухин	125
«Слышу шелест крыл судьбы...»	127
Двадцатый век	128
«У времени вечный завод...»	129
Отрочество	130
«А я не отвернулся от народа...»	131
«Интеллигенция была моим народом...»	132
Высокомерие	133
«Теперь Освенцим часто снится мне...»	134
«Скамейка на десятом этаже...»	135
«Образовался недосып...»	136
«На стремительном перегоне...»	137
«Мне кажется, когда протянут шнур...»	138

Натягивать не станем удила	139
«Государство уверено в том, что оно...»	140
Странности	141
Кариатиды	143
«У каждого были причины свои...»	144
Последний подарок судьбы	145
Доверительный разговор	147
«Было право на труд и на отдых...»	148
«Лезвий бритвенных в Пуле нету...»	149
«Человек на развилке путей...»	150
«Переехало, раздавило...»	151
«Я целые годы свои забыл...»	152
«Спешит закончить Эренбург...»	153
«А что же все-таки, если бог...»	154
«Человек подсчитал свои силы...»	155
Выдержка	156
Баллада о догматике	158
Ведро мертвецкой водки	160
«Вкладчик оползня...»	162
«Начинается расчет со Сталиным...»	163
Вскрытие мощей	164
«Мариэтта и Маргарита...»	165
Обращение к читателю	167
«Категориальное мышление...»	169
Запланированная неудача	170
«Воспитан в духе жадной простоты...»	171
«Сласть власти не имеет власти...»	172
Обои	173
«Деревня, а по сути дела — весь...»	174
«Плохие времена тем хороши...»	175
«Десятилетье Двадцатого съезда...»	176
Первый овощ	177
«Девушки, достигнув восемнадцати...»	178
Валянье Ваньки	179
Кнопка	180
«Разрывы авиабомб напоминают деревья...»	182
Судьба («Где-то в небе летит ракета...»)	183
«Будущее, будь каким ни будешь!...»	184
Институт	185
«Необходима цель...»	186
«В этот день не обходили лужи...»	187
«Пока меня за руки держат...»	188
«Я был плохой приметой...»	189
«Пошуми мне, судьба, расскажи...»	190
Сквозь мутное стекло окна	191

«Что нужно на дожитие тирану...»	192
«Вот она, отныне святая...»	193
«Игра не согласна...»	194
«Я в ваших хороводах отплясал...»	196
«Дайте мне прийти в свое отчаянье...»	197
«Смолоду и сдуру...»	198
«Эпоха закончилась. Надо ее описать...»	199
«Интересные своеобразные люди...»	200
«Поумнели дураки, а умники...»	201
«Я вдруг заметил, что рассказы...»	202
Воспоминание о Павле Когане	203
«Снова дикция — та, пропитая...»	206
«Сельвинский — брошенная зона...»	207
«Было много жалости и горечи...»	209
«Покуда полная правда...»	210
«Когда маячишь на эстраде...»	211
«Умер человек, не собиравшийся...»	212
«Самоубийство — храбрость труса...»	213
Порядок	214
«Самоубийцы самодержавно...»	215
Мы с богом	216
«Пляшем, как железные опилки...»	217
«Везло по мелочам...»	218
«Что-то дробно звенит в телефоне...»	219
«Я связан со временем...»	220
«Несчастья — были. Умирали други...»	221
«О, волосок! Я на тебе вишу...»	222

ГODOВАЯ СТРЕЛКА (1971)

Годовая стрелка	225
«Как важно дерево в окне...»	226
«Я был молод. Гипотезу бога...»	227
«Человеческую жизнь (с деталями)...»	228
Возраст авиации	229
«Я зайду к соседу, в ночь соседа...»	230
Силуэт	231
Легенды и факты	233
Все условия	234
Воспоминание о военной игре	236
Первый день войны	238
Сбрасывая силу страха	240
Надо, значит, надо	241
Слава саперов	243

Полный поворот дивизии	244
Судьба детских воздушных шаров	246
Военный уют	248
Ровно неделя до Победы	250
«Есть!»	251
Выбор («Выбираешь, за кем на край света...»)	252
Старик	253
Чаевые	255
Время людей	256
«Какие споры в эту зиму шли...»	257
«Руки опускаются по швам...»	258
«Хорошо ушел. Не оглянулся...»	259
Терпенье («Привычка привыкать...»)	260
«День был душный, а тон был пошлый...»	261
«Говорить по имени, по отчеству...»	262
Пророки и прогнозисты	263
«Снова заскрипела ось земная...»	264
«Эта женщина молода. Просто она постарела...»	265
Неинтересно	266
«Своим стильком плетения словес...»	267
Полоса неудач	268
Елка	269
Без меня («Ohne mich!..»)	271
Польза привычек	273
Последнее поколение	274
Автомат	275
«Нет, не телефонный — колокольный...»	276
Солидно!	277
Два года в больницах	278
Колокола	280
Ни к чему!	281
Испанцы в изгнании	283
«Брата похоронила, мужа...»	284
Вечер забытых поэтов	285
Перепохороны Хлебникова	286
«До чего же женщины живучи!..»	288
Поэт	289
«Которые историю творят...»	290
Чужой дом	291
«Старость — равнодушие. Постепенно...»	292
Линии железных дорог	293

«Уже хулили с оговоркой...»	294
«В утиль меня сдали. Копейки по две...»	295

«Отбиваться лучше в одиночку...»	296
«От отчаяния к надежде...»	297
«Учтя подручный матерьял...»	298
«Мои друзья не верили в меня...»	299
«Прорывая ткань покрывала...»	300
Сдерживанье недовольства	301
Черная икра	302
«— Не!»	303
Причины одной любви	304
«Дома-то высокие! Потолки...»	305
Ремонт пути	306
«В промежутке в ожидании электрички...»	307
Реперунизация	308
Что почем	309
«Люблю антисемитов, задарма...»	311
Тени костра	312
Мещанское счастье	313
«На пророка бывает проруха...»	314
«Воспоминаний вспомнить не велят...»	315
Старые офицеры	316
Немка	318
«Расстреливали Ваньку-взводного...»	320
По рассказу Л. Волинского	321
«Конец сороковых годов...»	322
Астрономия и автобиография	323
Сельское кладбище (Элегия)	324
«Иллюзия давала стол и кров...»	325
«Отлежали свое в окопах...»	326
«Это — мелочи. Так сказать, блохи...»	327
«Жгут архивы. К большим переменам...»	328
Край земли	329
«Люди сметки и люди хватки...»	330
«Не верю в величие величины...»	331
«Сидя на полу...»	332
Мадонна и Богородица	333
«Жалкие символы наши...»	334
Пределы разумного	335
«Хан был хамом, большим нахамом...»	336
Все течет, ничего не меняется	337
«Цель оправдывала средства...»	338
Наследство	339
«Черта под чертою. Пропала оседлость...»	340
Случай («Торопливо взглядывая на небо...»)	341
«Круги на воде...»	342
«Неча фразы подбирать...»	343

Хорошая смерть	344
«Как жалко он умирал! Как ужасно...»	345
Национальная особенность	346
«Долголетье исправит...»	347
Хвала Гулливеру	348
Философия и жизнь	349
«Екатерининский солдат...»	350
Технари	351
«Человек состоит из способности и потребности...»	352
«Самоутверждайся, человек!...»	353
Черные брови	355
«Вот и проросла судьба чужая...»	356
Татьяна, Наталья	357
«Интеллигентные дамы плачут, но про себя...»	358
«Что думает его супруга дорогая...»	359
Глухое чувство справедливости	360
«Как выглядела королева Лир...»	361
«Темницы двадцатого века...»	362
«Я рос и вырос в странной стране...»	363
Приметы	364
Необходимость пророка	365
«Куда-то в детство поезда ушли...»	366
Двадцатые годы	367
«Писали по-сверхчеловечьи...»	368
«Я помню твой жестоковыйный норов...»	369
«Я с той старухой хладновежлив был...»	370
«Заученный, зачитанный...»	371
«Как пушкинский рисунок на полях...»	372
«Я, рожденный в сорочке, сорочку...»	373
«Я слишком знаменитым не бывал...»	374
«Стих, как будто почвы Подмосковья...»	375
«Возвышала душу поэзия...»	376
«Действительность в строку не помещалась...»	377
Смывка киноплёнки	378

ДОБРОТА ДНЯ (1973)

«Интеллигентнее всех в стране...»	381
Трактора и автомобили	382
Судьба («Судьба — как женщина судья...»)	383
Привязчивая мелодия	384
Поцелуй в темноте	385
О борьбе с шумом	386
Косые линейки	387

Перевозу Брехта	390
Блик	391
«Смешливость, а не жестокость...»	393
Заболоцкий спит в итальянской гостинице	394
Тоня Калачева	396
Со всех языков	397
Негритенок	399
Молодыта	401
Подполковник	402
Соловьев с Ключевским	403
Тезки	404
Отец	405
«О, первовпечатленья бытия!..»	407
И гром и молния	408
Молча смотрю на солнце	409
Волнорез	410
Музыка с прибрежных кораблей	411
На «диком» пляже	413
Пурга над асфальтом	414
Первый снег	415
Зимняя Ялта	416
Полуночное шоссе	417
«У всех мальчишек круглые лица...»	418
Мой дождь, мой день	419
Желание	420
Подшивки	421
Как растаскивается пробка?	423
Скандал сорок шестого года	425
Послевоенное бесптичье	426
Фотографии моих друзей	427
Глаза детей	428
Варшавянки	429
Моя средняя школа	430
Ленка с Дунькой	431
Три столицы (Харьков — Париж — Рим)	432
«Старшему товарищу и другу...»	434
Не обойди!	435
Красавица	436
Удобства	438
Молодость и старость	439
Досрочник	440
Шуба	441
Не выбрал времени	442
Начинается...	443
Поверка	444

Метод	445
«Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей...»	446
«Пограмотней меня и покультурней!..»	447
«Самые лучшие люди из тех, что я знал, не хотели...»	448
Боль в глазах	449
Старые рифмы	450
Какие лица у поэтов	451
Ямбы	452
Хорошо!	453

«Начинается давность для зла и добра...»	454
Советская старина	455
«Покорение поколения...»	456
«Хватило на мой век...»	457
«Мировая мечта, что кружила нам голову...»	458
«Бог был терпелив, а коллектив...»	459
«Несподручно писать дневники...»	460
«За три факта, за три анекдота...»	461
«Покуда еще презирает Курбского...»	462
Восточные мудрецы и восточные умники	463
«Богатому кажется: бедному проще...»	464
«В революцию, типа русской...»	465
«То ли мята...»	466
Правота	467
«Жестокие пословицы Руси...»	468
«— Люди! Любите друг друга!..»	469
Преимущества и недостатки объема	470
«История утомила природу...»	471
Евгений	472
«Горлопанили горлопаны...»	474
Обе стороны письменного стола	475
«Половина лавины...»	476
Ошибки Гегеля	477
«Знак был твердый у этого времени...»	478
Названия и переименования	479
«Строго было...»	481
«— Руки у Венеры обломаем...»	482
«Последний был в отмену предпоследних...»	483
«Ничего!»	484
Размол кладбища	485
Послевоенные выставки	487
Баба Маня	489
Недодача	490
Горожане	491

Грешницы	493
Проступающее детство	494
Памяти одного врага	495
Сила слова	496
Седые брови	497
Совість	498
Не за себя прошу («За себя никогда никого не просил...»)	499
«Какие они, кто моложе меня...»	500
«Может, этот молодой...»	501
Слава («Местный сумасшедший, раза два...»)	502
Знаешь сам!	503
«Не домашний, а фабричный...»	504
Происхождение	505
В рифму	506
Азбука и логика	507
Битье в грудь	508
«Иду домой с собрания...»	509
«Когда ругали мы друг друга...»	510
Вместо некролога	511
Ритм	513
«Много псевдонимов у судьбы..»	514
«Смерть — единственная управа...»	515
Случай («Этот случай спланирован в крупных штабах...»)	516
Профессия	517
«Голоса не дал Господь и слова...»	518
«На русскую землю права мои невелики...»	519
«Арьергардные бои...»	520
Сам встаешь	521
Необходимость горя	522
Надежды	523
Краткосрочный отпуск	524
Отечество и отчество	525
«Терплю свое терпение...»	526
«Немедленная справедливость!...»	527
Критерии	528
Пой, жаворонок	529
Как проехать к воздушному замку	530
«Я теперь не прошедшее — давно прошедшее...»	531
«— Как ты смеешь? Как ты можешь?..»	532
Примечания	535

Слуцкий Б.

С49 Собр. соч. в 3 т. Т. 2. Стихотворения. 1961—1972/Сост., подгот. текста и коммент. Ю. Болдырева. — М.: Худож. лит., 1991. — 574 с.

ISBN 5-280-01616-0 (Т. 2)

В настоящий, второй том Собрания сочинений Бориса Слуцкого (1919—1986) включены стихотворения, созданные поэтом в период с 1961 по 1972 год, — из книг: «Работа» (1964), «Современные истории» (1969), «Годовая стрелка» (1971), «Доброта дня» (1973).

С 4702010202-243
028(01)-91 **Подписное**

ББК 84Р7

**Борис Абрамович
СЛУЦКИЙ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ**

Заведующая редакцией *В. Канунникова*

Редактор *В. Пальчиков*

Художественный редактор *Е. Ененко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *Б. Тумян, Т. Филиппова*

ИБ № 6296

Сдано в набор 05.12.90. Подписано в печать 03.06.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл.-печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 18,35. Тираж 50 000 экз. Изд. № III-3932. Заказ № 695. Цена 3 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Владимирская типография Госкомпечати СССР
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

